

В доме музыка жила

Валентина Чемберджи

В этой рукописи находит свое
отражение лишь определенная доля правды,
но все, что я пишу, — правда...

Сергей
Прокофьев

Дмитрий
Шостакович

Святослав
Рихтер

Биографии Великих Музыкантов

Вечная музыка. Иллюстрированные
биографии великих музыкантов

Валентина Чемберджи

**В доме музыка жила.
Дмитрий Шостакович, Сергей
Прокофьев, Святослав Рихтер**

«АСТ»

2017

УДК 78(091)(47+57)
ББК 85.313(2)6

Чемберджи В. Н.

В доме музыка жила. Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Святослав Рихтер / В. Н. Чемберджи — «АСТ», 2017 — (Вечная музыка. Иллюстрированные биографии великих музыкантов)

ISBN 978-5-17-103305-7

Книга филолога и переводчицы Валентины Чемберджи, дочери композиторов Николая Чемберджи и Зары Левиной, представляет собой рассказы о музыкантах, среди которых она выросла и провела большую часть своей жизни. Жанр рукописи – не мемуары, а скорее наброски к портретам музыкальных деятелей в драматическом контексте истории нашей страны. На ее страницах появляются не только величайшие композиторы, исполнители и музыкальные критики – от Шостаковича, Прокофьева и Рихтера, но и незаслуженно обреченные на забвение достойные восхищения люди. Много внимания автор уделяет описанию эпохи, в которую они жили и творили. Часть книги занимают рассказы о родителях автора. Приведены насыщенные событиями начала XX века страницы дневниковых записей и писем Зары Левиной.

УДК 78(091)(47+57)
ББК 85.313(2)6

ISBN 978-5-17-103305-7

© Чемберджи В. Н., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

От автора	7
Глава первая. Папа	8
Глава вторая. Наш дом	33
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Валентина Чемберджи

В доме музыка жила

© В. Н. Чемберджи, текст, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

*Памяти моих родителей Зары Александровны Левиной и Николая
Карповича Чемберджи*

От автора

Эта рукопись – дань памяти моих родителей, композиторов и музыкальных деятелей Николая Карповича Чемберджи и Зары Александровны Левиной. Положенная в основу идея естественно вылилась в рассказ о музыкантах, среди которых я выросла и провела жизнь. На ее страницах появляются не только великие композиторы, исполнители и музыкальные критики, но и незаслуженно обреченные на забвение достойные восхищения люди, написать о которых я всегда считала своим долгом.

Я старалась избежать описания необязательных подробностей, неблагоприятных поступков, а порой даже и преступлений, связанных с конъюнктурой, с реальной опасностью или обусловленных натурой иных действующих лиц: страшно причинить боль живым, не хочется никого судить, не пришло время. Но главная причина состоит в том, что трудно поддающееся определению внутреннее чувство категорически запрещает мне описывать проявления зависти, бездарности, интриганства, моральную нечистоплотность, неизбежные во все времена, а в наше, может быть, особенно.

В этой рукописи находит свое отражение лишь определенная доля правды, но все, что я пишу, – правда; ничто не служит другим целям, кроме совершенно искреннего желания рассказать о том, чему я была свидетельницей.

Жанр рукописи – не мемуары, а, скорее, наброски к портретам музыкальных деятелей в драматическом контексте истории нашей страны. Если бы этим скромным страницам можно было предпослать эпиграф, я выбрала бы утешительные слова Герцена:

«– Кто имеет право писать свои воспоминания?

– *Всякий*. Потому что *никто* их не обязан читать».

Глава первая. Папа

Папа родился 24 августа 1903 года в Царском Селе. Его отец, мой дедушка, Карп Владимирович Чемберджи, был придворным медиком; пугливо озираясь, мама говорила, что лейб-медиком Его Императорского Величества. Насчет лейб-медика не знаю, но судя по обращению «Ваше сиятельство», которое я нахожу в корреспонденции дедушки, по эполетам и прочим внушительным изобразительным деталям на его фотографии, он состоял в крупном чине. Фамилия «Чемберджи», последними носительницами которой являемся мы с дочерью Катей (спасибо Владимиру Познеру – ее папе, моему первому мужу, который не возражал против замены ее фамилии), свидетельствует о восточных корнях его происхождения – числился он армянином, крымским. И правда: ведь Алтунжи (две изумительные, миниатюрные, изысканно породистые старушки, которых я несколько раз в жизни видела в Москве в доме Спендиаровых-Мясищевых) тоже, видимо, были из крымских армян. Карп Владимирович жил и работал при дворе в Царском Селе – это я знаю определенно.

В книге Г. А. Поляновского¹ о моем папе говорится, что Карп Владимирович служил в Мариинской Санкт-Петербургской больнице для бедных, но это уже дань времени – лечить полагалось только бедных. Видимо, дедушка представлял своим дворянством и высоким положением в обществе некоторую опасность для родителей. Сколько раз я ни спрашивала маму о судьбе дедушки – просто хотя бы где и когда он умер, где похоронен, – мама ни разу мне ничего вразумительного не ответила.

Характерно, что я не могла получить ответа и от гораздо больше озабоченных своим происхождением, чем мама-«плебейка», сестер Спендиаровых. Они тоже то ли ничего не знали, то ли не хотели мне говорить. На все эти вопросы, наверное, ответил бы мне папа, но он слишком рано умер. Слишком рано и для себя (в сорок четыре года), и для меня, которая рано осталась без отца и ответов на многие вопросы, и для мамы, которая уже больше не вышла замуж.

Карп Владимирович Чемберджи был женат на Валентине Афанасьевне Спендиаровой, родной сестре Александра Афанасьевича Спендиарова, композитора, классика армянской музыки, друга Глазунова, Лядова, Аренского и других замечательных русских композиторов; у них родился сын Коля. Коля Чемберджи. В детстве я слышала, как взрослые то и дело склоняли это имя и фамилию: «Надо спросить у Коли Чемберджи, надо посоветоваться с Колей Чемберджи», и т. д. Бабушка Валя, Колина мама, умерла, когда сыну исполнилось два года. Помнил ли он ее? Не знаю. Странно называть ее бабушкой, потому что на портрете, который стоит теперь на шкафу в комнате моего сына Саши (раньше маминой), она – юная девушка, и красота ее облагорожена какой-то необыкновенной милостью и мягкостью черт. Старинная внешность, скромная прическа, слегка вьющиеся волосы. Чистый облик. Есть и другие фотографии начала века: она поднимается по склону горы вместе с Карпом Владимировичем, с кружевным зонтиком в руках, изящная, тоненькая, хрупкая. Внушительный вид тогда еще молодого деда подчеркивает легкость ее фигурки. Или еще: в шляпке, затеняющей часть ее всегда застенчивого лица. Она умерла от туберкулеза.

В нашем доме (где все лучшее и дорогое неизменно падало и разбивалось) уцелело единственное свидетельство ее художественной одаренности: настенная фарфоровая тарелка с написанным на ней нежным девичьим лицом, обрамленным светлыми локонами. А ведь висели еще две: одна с веткой сирени, а другая с портретом молодой дамы в потрясавшей мое воображение шляпе, явно писанным с натуры. Обе разбились.

В честь Валентины Афанасьевны меня назвали Валеи.

¹ Поляновский Г. А. Н. К. Чемберджи. М. – Л., 1947.

Тарелки, фотографии, портрет, имя – даже то небольшое, что сохранилось, делает ее членом нашей семьи, нашей жизни.

После смерти бабушки Вали Карп Владимирович, обожавший маленького папу до безумия, не желая (а, может быть, и не имея возможности) бросить свою службу, отправил двухлетнего сына в Крым, в Судак, где в большом и богатом доме (ставшем после революции зданием Дома отдыха Министерства обороны) жил его дядя – Александр Афанасьевич Спендиаров со всей своей семьей. В Ялте, на Екатерининской улице стоял другой, городской дом Спендиарова.

Я помню его семью живущей в Судаке во флигеле «для прислуги», который оставили вдове Спендиарова, – достаточно просторном деревянном доме, чтобы там могли поместиться и, никого не стесняя, жить в свое удовольствие все дети и гости Спендиаровых.

Крым послевоенного времени. По сравнению с довоенным – другая земля. Запущенный, замусоренный, и с годами все сильнее и сильнее, под русскими ли, под украинцами ли. При татарях – вылизанный, включая саму землю, ухоженный, жемчужина природы, и теперь, повидав много, скажу: может быть, один из самых красивых уголков южной Европы.

Прекрасно помню бабушку Варю – Варвару Леонидовну Спендиарову – царственную в своей простоте и строгой красоте, с седеющими волнистыми волосами, уложенными в пучок, представительную женщину, мудрую, добрую, строгую. Шестеро детей (четыре дочери и два сына) так же, как и все остальные, слушались ее беспрекословно. У меня сохранились детские фотографии ее очаровательных дочек вместе с папой. Девочки в каких-то сказочных кружевных платьицах, в локонах и лентах, и папа в неизменной белой матроске.

Эти девочки и в детстве и уже после папиной смерти были неизменными участницами моей жизни – тетя Ляля, тетя Марина, тетя Таня и (меньше) тетя Мира. Все были красавицами и, что удивительно, совершенно непохожими друг на друга.

Они и в квартиру нашу входили по-разному: тетя Ляля вступала, тетя Марина вплывала, тетя Таня впархивала, а тетя Мира вламывалась.

Тетя Марина, рыжеволосая, голубоглазая, романтическая красавица, учила Светлану Сталину пению (об этом я знала по рассказам) и на всех перекрестках громогласно и непрерывно каждому встречному и поперечному поносила своего папашу, за что по статье «индивидуальный террор» получила положенный срок и угодила в лагерь. Она заведовала там художественной самодеятельностью. Марина Александровна учила эков петь, и они ее обожали. А когда она была реабилитирована, то, вернувшись в Москву, в первом же троллейбусе, в который втиснулась, встретила своего мужа, посаженного вслед за ней, – Виктора, и он тогда же, прямо в троллейбусе, сказал ей, что за это время женился на другой женщине, с которой подружился «у себя» в лагере.

Тетя Марина отличалась каким-то Богом данным ей чувством отсутствия преград – беспрепятственности в осуществлении своих намерений. Она действовала как таран, ничего никогда не откладывая. Но эта ее «тараническая» деятельность всегда была направлена на добро. Я бы не назвала ее оптимисткой, потому что это слово слишком бледно в сравнении с несколько абстрактной убежденностью тети Марины в повсеместной победе справедливости и добра.

Очень явственно, будто сама была свидетельницей, помню этот рассказ о троллейбусе, Викторе, лагере, помню непривычный облик жалким образом одетой тети Марины и, как мне показалось уже тогда, полное несоответствие рассказываемого сиянию ее голубых глаз. Кстати говоря, она уже было начала высказывать свои обычные филиппики в адрес отца народов, но тут мама на всякий случай быстро отвлекла ее.

Тетя Марина стряхнула с себя прошлое, вышла замуж за армянина по имени Сюзан, что уже само по себе привлекает внимание, написала и издала в серии ЖЗЛ книгу о своем отце – Александре Афанасьевиче Спендиарове. Открыла в Ялте музей, посвященный ему.

Вряд ли все это было так уж легко, но перед тетей Мариной рушились все препятствия. Кстати, о некоем благоволении к ней высших сил, снабдивших ее таким характером, говорит такое маленькое происшествие. В конце войны или сразу после войны мы с папой и мамой снимали на лето пол-избы в деревне Чиверево на Московском водохранилище, куда из «далеких» Химок (так называли тогда нынешний Речной вокзал) плавали катера, названные в честь наших знаменитых летчиков: Беляков, Байдуков, Чкалов, Громов. Деревня Чиверево, живописно расположенная на высоком речном берегу, была предпоследней остановкой перед конечной – Тишковым. Вот туда, в Чиверево, приехала к нам как-то тетя Марина, пошла с нами купаться и уронила в песок свое обручальное кольцо (наверное, еще с Викторовых времен – толстое, червонного золота). Поохала и пошла с нами домой. На другое утро она сказала мне: «Послушай, девочка, сходи, пожалуйста, на берег, поищи, может быть, найдешь мое кольцо». Я отправилась на речку, недоумевая и не представляя себе, где и как искать кольцо. В песке! Все же я послушно нашла «вчерашнее» место, и в первой же зачерпнутой горсти сверкнуло кольцо. Такое могло произойти только с кольцом тети Марины.

Лето в Чиверево запомнилось мне очень яркими картинками. Этим летом папа часто приезжал к нам в нашу деревенскую избу. Тогда же в этой деревне жил и заядлый яхтсмен композитор Голубенцов, поселившийся здесь, потому что широкие просторы Московского водохранилища позволяли ему много времени проводить на яхте. Папа, близко с ним знакомый, взял меня однажды покататься на ней. Очень хорошо помню его в тот момент, сильного, бешено темпераментного мужчину с каким-то даже опасным блеском в глазах, ловкого, умелого, склонного к риску. Тогда же он раз и навсегда разрешил проблему моего обучения плаванию: поднял меня на руках и бросил в воду. Папа прекрасно плавал, так что в случае чего мгновенно вытащил бы меня, но я и сама тут же выплыла и с тех пор никогда не боялась воды. Папа и Голубенцов были очень довольны моим поведением и научили кое-каким операциям в управлении яхтой. Удивительный был день. И папа – стройный, с правильными чертами породистого и интеллигентного лица, выразительно очерченными полными губами, носом с горбинкой, веселыми, темными глазами за стеклами очков, высоким лбом и, главное, этой бьющей через край захваченностью, вовлеченностью. Таким я его уже не видела больше никогда.

Отбив у меня страх перед стихией воды, папа однажды очень пожалел об этом. За год до его смерти я отважно отправилась плавать в Балтийском море во время сильного волнения и чуть не утонула, меня спасли местные латышские красавцы. Как же папа возмущался мной, как доказывал мне всю безнравственность моего поступка, долго не мог простить меня.

Все сестры были совершенно разными. Замечательная поэтесса и талантливая переводчица Татьяна Спендиарова, тетя Таня, порывистая, темпераментная, худенькая, легкая, с маленькой, гладко причесанной темной головкой с пучком сзади, с мелкими, идеально правильными чертами лица, черными, живыми, горящими глазами, кулинарка, хранительница традиций – «наполеон», куличи, пасхальные яйца – живет в моей памяти человеком умиления. Но умиления действенного. Скажем, ее умилили стихи Овсея Дриза, тут же она вступала с ним в близкое знакомство, помогала ему всем, чем могла, будучи известным членом Союза писателей. Он уже и сам как личность умилял ее, она начинала обожать не только его стихи, но и самого поэта, что обычно вызывало у окружающих активное чувство протеста, в данном случае и против стихов, и против поэта – Овсея Дриза. (Восторженность тети Тани часто ослепляла ее, и она бывала жестоко наказана за свою безоглядную доверчивость и преданность.) Но вот появлялась книжка: «Овсей Дриз. Стихи. Перевод с еврейского Татьяны Спендиаровой». И можно было заплакать над этими стихами. Слезами умиления и восторга.

– Зара! – кричала тетя Таня, впархивая на порог квартиры (она никогда не предупреждала о своем приходе). – Бросай все и иди сейчас же сюда! Ты только посмотри, послушай, какую прелесть я принесла. Некогда?! Бросай немедленно? Ты в жизни ничего подобного

не видела (коронная фраза тети Тани). Зара, ты меня слышишь? Иди сюда немедленно! Слушай.

И тетя Таня начинала вдохновенно, но без поэтических придыханий читать стихи. И мама, преодолев момент естественного сопротивления, вскоре заслушивалась. В оценках поэтических произведений тетя Таня не ошибалась никогда. И вскорости я уже видела на газетных полях пять нотных строчек, набросанную на них мелодию, а потом уже слышала по радио или со сцены: «Зара Левина. Вокальный цикл на стихи О. Дриза, перевод Татьяны Спендиаровой». Последнее мамино сочинение.

Все это я очень живо вспомнила две недели тому назад, в Германии, присутствуя при картине, которая уж точно умилила бы и тетю Таню, и маму, не так уж склонную к умилению. Моя дочь Катя играла на рояле «Тик-так», некогда знаменитую мамину песенку на стихи тети Тани, внучка Маша подыгрывала на флейте, а внук Коля пел. Живет «Тик-так». Живет тетя Таня.

Тетю Миру, художницу, я видела в жизни едва ли четыре-пять раз. Она была пролетарских взглядов и не желала иметь ничего общего с «буржуазными» сестрами. Меня однажды ни с того ни с сего, кажется в знак одобрения, больно ударила в живот. И, конечно, среди буржук-сестер особой нелюбовью выделяла тетю Лялю, Елену Александровну Спендиарову-Мясищеву.

Младшая из сестер, тетя Ляля, больше похожая на отца, с легким отпечатком армянского происхождения в истинном аристократизме внешности – лицо с камей: изящный, с горбинкой нос, совершенный овал лица, точность и легкость очертаний небольшого рта и карих глаз. Вьющиеся рыжеватые волосы. В отличие от своих сестер тетя Ляля следила за модой, одевалась изысканно, я никогда не видела ее в халате и тапочках. Всегда на каблуках, всегда элегантная. Она оставалась такой до конца жизни. Обитательница и хозяйка роскошного особняка на Николиной Горе и огромной квартиры на улице Грановского, тетя Ляля содержала все это хозяйство в идеальном порядке, и ни в доме, ни на участке – нигде не было ни соринки, ни пылинки. Большой участок полого спускался с холма, заканчиваясь тщательно возделанным огородом, зарослями малины и смородины. Таких овощей и таких ягод я больше и не видывала нигде, и не пробовала. Красота и вкус их находились в полной гармонии. Каменный дом, увитый зеленью (во второй раз я увидела такие увитые зеленью дома, беседки и веранды спустя тридцать лет во Франции), россыпи цветов – роз, лилий, георгинов, астр, теннисный корт и крокетная площадка. В детстве я играла там в крокет, в юности научилась играть в теннис.

Страстной приверженностью к порядку и качеству всех составляющих жизни тетя Ляля была обязана не только себе, но и своему мужу, одному из крупнейших авиаконструкторов, Генеральному конструктору ОКБ, которое сейчас носит его имя, генералу Владимиру Михайловичу Мясищеву, создателю большого числа советских военных самолетов. (Каким-то странным образом страсть к авиации унаследовал от дяди Володи мой сын Саша, не связанный с ним кровными узами.) Только теперь дядя Володя становится известным широкому кругу людей – его имя появилось в кроссвордах, а это верный признак славы!

Владимир Михайлович Мясищев – поляк по происхождению – заслуживает того, чтобы о нем писали отдельные книги, и их теперь пишут. Я со своей стороны могу сказать только, что он-то уж был не просто красив, а красавец из красавцев: каштановые волосы, пышные, но строго зачесанные назад, ясные большие голубые глаза, гармония всех черт лица, каждая из которых близилась к совершенству (не существует ни одной его фотографии, на которой это не было бы очевидно), холодноватый, говоривший всегда и только тихим голосом, непререкаемый авторитет для тети Ляли и дочери Маши, сверхзасекреченный, необыкновенно талантливый, награжденный всеми высшими наградами и званиями страны, имевший так называемый «открытый счет», но, к постоянному огорчению и страданию тети

Ляли, именно по причине своих великолепных изобретений в военной авиации никому не известный. А когда люди узнали о нем, ни его, ни тети Ляли уже не было на свете.

По-моему, дядя Володя по возможности не замечал власть. Смысл его жизни составляли одержимость творчеством, работой и домом. Дядя Володя, во всяком случае при мне, никогда не говорил о политике, но весь уклад жизни в особняке, выстроенном на Николиной Горе по его личному проекту, во всех деталях противоречил обесцененным семейным радостям советского образа жизни. Гонг к обеду, безупречный фарфор, накрахмаленные салфетки, серебряные подставочки для приборов, миллионы всяких вилок и ножей, рюмок и стаканов для собственноручно приготовленного дядей Володей к обеду легкого фруктового напитка, подаваемого в большом кувшине (сам обед, впрочем, всегда был до аскетизма скромным), безукоризненные манеры, и всеобщая робость перед ним. Помню, я за этими обедами чувствовала себя как слон в посудной лавке и боялась рот раскрыть.

Само собой разумеется, и он отсидел положенные ему три года в шарашке вместе с Туполевым и, по-моему, Яковлевым – главным, как считала тетя Ляля, «врагом и завистником» дяди Володи.

Все стоит у меня перед глазами, но, может быть, больше всего запомнилась повторяющаяся каждый день картина: около семи часов вечера к задним воротам, на которые выходил огород, подъезжал «ЗИМ» дяди Володи, возвращавшегося с работы, в последние годы жизни из ЦАГИ, и в этот момент из дома вылетала – именно вылетала – его легконогая внучка Варя с огромным бантом на голове и летела через весь участок прямо в объятия дедушки. Варе позволено было все, но, правду сказать, она никогда не злоупотребляла любовью деда.

У Спендиаровых были еще два сына – Тася и Леся, но про них я почти ничего не знаю. Когда началась война, бабушка Варя отказалась покинуть дом и ее вместе с Тасей расстреляли пришедшие в Судак немцы. Лесе удалось бежать, и он тоже прожил «другую жизнь» в каком-то захолустье на Украине. Мягкий, деликатный, европейского образования, он был застенчив и робок и хорошо еще, что нашел жену, которая преданно ухаживала за ним всю жизнь.

Карп Владимирович очень скучал по сыну Коле. У нас дома сохранились два старинных альбома: гладкий красный (блестящий, с картинкой на красном лаке обложки и золотым замочком) и из черной кожи с золотым тиснением (в нем хранятся открытки Карпа Владимировича, которые он ежедневно посылал Коле в Судак). Открытки сами по себе хороши, на многих из них сфотографированы корабли (папа всю жизнь рисовал их, с большим настроением, передавая одновременно гибкость, твердость и победность линий), а уж от рождественских открыток просто глаз оторвать невозможно – они и с блестками и будто бы со снежинками, есть и пасхальные, раскрашенные самым радостным образом, и очаровательные букеты незабудок – каких только нет, и с видами Царского Села, и Санкт-Петербурга. И папа, наверное, на них отвечал, но эти ответы канули в бездну вместе с дедушкой. Открытки, мне кажется, дают представление о той нежнейшей любви, которую Карп Владимирович испытывал к сыну. Первая адресована двухлетнему мальчику:

11.12.05

Ялта. Дом Спендиарова.

Николаю Карповичу Чемберджи.

Папа любит Колю, а Коля любит папу.

Ялта, Екатерининская, д. Спендиарова.

Николаю Карповичу Чемберджи.

Еще скажу тебе на ухо, мой Колюнчик, что я хочу тебя поцеловать. Папа.

Петербург, 19 ноября 1906 г.

27.1.08

Ялта, Екатерининская ул., д. Спендиарова.

Николаю Карповичу Чемберджи.

Пишу тебе, дорогой сыночек, из Севастополя. Море было очень бурное, и меня сильно укачало. Сейчас сажусь в вагон железной дороги и еду в Симферополь. Твой папа.

Адрес тот же.

Пишу тебе, мой хороший сын, из Севастополя. Море волновалось мало и качки почти не было. Сейчас еду в Симферополь по железной дороге. Крепко тебя целую. Твой папа.

Ялта. Николаю Карповичу Чемберджи.

Екатерининская ул., д. Спендиарова 29.01.08

Пишу тебе, мой хороший сынок, в дороге, между Симферополем и деревней. Сейчас 12 часов – время твоего завтрака. Надеюсь, что ты хорошо сегодня позавтракал. Твой папа.

Симферополь. 6.11.08

Ялта, Екатерининская, д. Спендиарова.

Коле Чемберджи.

Мой милый Коля, не смогу выехать и в пятницу. В субботу приеду непременно. Целую тебя несчетное количество раз. Твой папа.

28.1.10 Петербург

Ялта, Екатерининская, д. Спендиарова,

Николаю Карповичу Чемберджи

Дорогой мой Коля! Вчера от тебя не было письма. Пиши письма ежедневно и опускай в почтовый ящик всегда в одно и то же время. Несчетно тебя целую. Твой папа.

Без даты и места.

Почему папа любит Колю? Потому, что Коля хороший мальчик.

Написаны все открытки бисерным, изящным и в то же время твердым мужским почерком, безупречного вкуса; этот почерк не менее выразительно свидетельствует о благородном происхождении деда, чем его эполеты. Есть и фотографии с папой на руках – папа, конечно, все в том же неизбежном матросском костюмчике. Почему-то папа на них всегда печальный. Может быть, перед фотокамерой? Или потому, что у него нет в его жизни мамы? Не знаю. А дедушка – серьезный и отчасти величественный.

Итак, с двух лет папа жил в Крыму, то в Судакe, то в Ялте в семье Спендиаровых, воспитывался вместе с сестрами и братьями Спендиаровыми – они его нежно любили, никогда не обижали, а он был отчаянным шалуном. Помню, папа рассказывал про свою любимую шутку под названием «бездымный порох», которая состояла в следующем. Сестры Спендиаровы в белоснежных кружевных платьицах, в сопровождении бонн и гувернанток, выходили на прогулку. Папа же забирался на дерево и оттуда бросал на них связанный в узелок носовой платок, в котором была собрана в большом количестве пыль, и это служило поводом для всеобщего веселья.

Была у папы и няня, преданная ему до последних минут своей жизни. Она заботилась о папе, пыталась переслать ему из Ялты многие из принадлежавших ему вещей – секретер, очень много книг, серебро. Сохранилась ее фотография: очень строгое, простое русское лицо. Няня заменяла папе маму.

Разумеется, в семье учили языкам, и папа совершенно свободно владел английским, немецким и французским языками, как и все сестры Спендиаровы. И это удивляло меня до бесконечности. Просто в голове не укладывалось: как это можно говорить на трех языках? Зачем?! Сама не знаю почему, но я понимала, что для чего-то это нужно. Конечно, языки негодились папе в его уже взрослой жизни – разве что он мог перечитывать в оригинале некоторые из любимых книг, уцелевших после войны у нас дома на Третьей Миусской – Готвальда – Чайнова. Остановились теперь на имени Чайнова. Почему? Бог весть. Но все же лучше, чем Готвальд.

Жизнь в доме Спендиарова во многом предопределила дальнейший путь папы – и то, что он стал композитором. Потому что Спендиаров рано обратил внимание на папину музыкальность, стал развивать его творческие способности, и успехи пришли быстро. Пианистическое образование тоже, видимо, было серьезным, поскольку впоследствии, по приезду в Москву, позволило папе зарабатывать на жизнь, работая тапером в кинотеатрах.

В детстве папа верил в Бога, регулярно посещал церковь, и вера его была так же естественна, как жизнь. Папа отличался цельностью натуры – мама частенько называла его «прямолинейным», но мне кажется, что за прямолинейность мама принимала по-детски чистое желание, чтобы все было понятно, справедливо и складывалось в единую картину правильного устройства мира. Наивный? Да, конечно. Скорее, чем прямолинейный. Всем таким мальчикам, знавшим европейские языки, образованным, верующим, нежно воспитанным, привыкшим к любви и полному взаимному уважению, революция порушила разом все. Разом и во всей России. Навсегда ли, не знаю. Иногда кажется, что навсегда.

Что же мой папа? Лет семнадцати, восторженно поддавшись натиску идей всеобщего равенства и братства, в который раз несущих людям обман и разрушение, облеченных в России в особо криминальную форму, сознавая свою чудовищную «вину» за некоторую избранность, он бросил все и ринулся в Москву. В свои неполных двадцать лет, не испытывая ни малейших сомнений в справедливости и правильности всего происходящего. Он без сожалений расстался со всем, что ему принадлежало, и без гроша в кармане, один, без всякой помощи оказался в Москве. Я совсем мало знаю о том, как шла его жизнь до поступления в Московскую консерваторию. Про таперство я уже говорила. Давал уроки английского языка, делал технические переводы. Наверное, сочинял для себя. Увлекался словесами, внешней шелухой, в которую облекали свою губительную деятельность большевики, и во все это верил.

Написала все это и подумала: нет, не так. Были ведь люди, которые его опекали и ему помогали. Армяне. Варт-Бароняны. Тоже из «бывших». Какое счастье, что мне представляется случай написать о них, добрейших, бескорыстных, одних из лучших людей, встреченных мною в жизни. Папа был их любимый Коля – Колечка, а маму они, правду сказать, не так жаловали, чего она простить им никогда не могла. Тут, конечно, уместен вопрос: откуда я все это знаю. Очень просто. Когда, десятилетия спустя, родилась я, мои занятые родители сдали меня на три года в эту семью, регулярно меня навещали и умилялись моей уже тогда ярко выявившейся аккуратности (знаменитый рассказ о том, как в возрасте двух лет я стою в своей детской кроватке и развешиваю мокрые пеленки на ее перильцах). Варт-Бароняны – «кисловцы» – жили в Кисловском переулке, на Кисловке, в огромной квартире, раньше принадлежавшей им, а теперь «уплотненные» и имевшие в своем распоряжении две комнаты.

Видимо, они были связаны с папой или дружескими или родственными отношениями, а может быть, это были тоже крымские армяне, оказавшиеся в Москве. Глава семьи – Галуст Гаврилович Варт-Баронян, невысокий, бритоголовый, породистый, строгий на вид, но добрейший Галя, его жена Анна Карповна (для меня Нюня) и их родственница Анна Никитична – Аня, – до конца своих дней горевавшая о ранней смерти дочки Белочки, чьим овальным портретом я любовалась первые двадцать лет своей жизни, и посвятившая жизнь обожае-

мым ею Гале и Нюне. Кстати, теперь-то я понимаю, что они-то, может быть, и рассказали бы мне все, что знали о бабушке. Теперь уже поздно.

В семье кисловцев я росла в любви и нежности. Мне все разрешали, мне читали удивительные и очень красивые, красные с золотом, книжки, меня носили на руках, когда болела ветрянкой, и только один раз не то чтобы рассердились, но несколько обеспокоились. Дело в том, что я с самого детства была почему-то совершенно положительной особой и поэтому даже в столь раннем возрасте мне доверяли. Но однажды я решила вынуть из горки все чашки, блюдца, сахарницы, чайнички, тарелки и блюда и расставить их на краю дивана. Я долго и терпеливо этим занималась, и когда в комнату вошла Аня, она ахнула: на самом изгибе потертого бархатного дивана, сильно накренившись, стояли бесчисленные предметы роскошного кобальтово-синего с золотом севрского сервиза (остатки былой роскоши). Я как раз уже почти кончила свою работу. Аня сдержалась, не вскрикнула и ласково вывела меня из комнаты, потом позвала на помощь Галю и Нюню, которые вместе с Аней расставили все по местам. К счастью, ничего не разбилось.

Эту историю кисловцы любили рассказывать, когда я каждое воскресенье приходила к ним уже студенткой университета. Я мало что тогда понимала, кроме того, что идти туда, к двум старым женщинам (Галя уже давно умер от рака), было для меня настоящим праздником. Я надевала все самое лучшее, что у меня было, и отправлялась туда на весь день. Мы обедали. Они были очень бедны, обед носил символический характер, но ритуалы соблюдались со всей тщательностью (даже не «соблюдались», а просто иначе и не могло быть) – фарфор, закуски, тающие во рту пирожки из ничего, три блюда, чай с лимоном. Ах, какой это был чай. В стаканах в серебряных подстаканниках, непередаваемо медового цвета, с ломтиком лимона, и разговоры, разговоры.

Их все интересовало – почему я поступила на классическое отделение филологического факультета (это им страшно нравилось), что я там изучаю, что читаю, с кем дружу. К ним же я привела в один прекрасный день 1957 года и своего будущего мужа – Владимира Познера. Они были знакомы и с другими моими друзьями, но вопрос был решен ими категорически в его пользу. Помимо всех его внешних и внутренних достоинств, думаю, немалую роль сыграло и знание иностранных языков. И легчайшие ошибки, которые Володя делал в ту пору в русском языке, их умиляли. А какие манеры?! Короче говоря, кисловцы пришли от него в восторг. Но и Володе надо отдать должное: в бедно одетых и совсем уже немолодых женщинах он разглядел, почувствовал очарование бывшего, высокую культуру, такт, интеллигентность, широкий круг интересов и доброту ко мне.

Про маму не спрашивали. Отчасти я понимаю, почему. Мама ведь как бы забыла их, и, наверное, им было это обидно: все же они заложили основы моего воспитания.

Из «своей» квартиры они впоследствии переехали в отдельную крошечную квартирку в Хлыновом тупике (по соседству, рядом с улицей Герцена): поднявшись по грязной, пропахшей кошками лестнице на второй этаж, я звонила в дверь, и мне открывала худенькая Аня в неизменном черненьком платьице с белоснежным кружевным воротничком, легкая, подвижная, до конца жизни оставшаяся брюнеткой с легкой проседью, а в комнате уже сидела строгая Нюня и поджидала меня. Иногда заходил сын Нюни и Гали Володя, – по-моему, замечательный молодой человек, но твердокаменная Нюня не любила его жену, не могла ему ее простить; и сама, и сын были несчастны из-за этого. Нюня – Анна Карповна – где-то работала надомницей, рукодельничала, немного зарабатывала, но главное, она принадлежала к первым «книжницам». У тогдашних книжников было настоящее братство. И как только в книжном, чаще всего на улице Горького, магазине появлялась на прилавке очередная новая книга, начинал неумолчно трезвонить телефон, члены братства договаривались о дежурствах, они дружили, они читали, они любили эти книги и не рассматривали их как источник обогащения или свидетельство престижа. Собственно, об этом можно было бы и не говорить.

Самым большим знаком доверия со стороны Нюни было то, что она давала мне читать все, что я просила. А просила я много. Меня почему-то больше прельщали дореволюционные издания, с которыми Нюня расставалась на неделю легче, чем с новенькими, только что из типографии томиками собраний сочинений, купленными на последние деньги. Помоему, и Аня, и Нюня считали начавшееся издание настоящей литературы какой-то странной выходкой советской власти, которая в любой момент могла принять сколь угодно причудливую форму.

К вечеру я возвращалась домой как из другого мира, но в ту пору, конечно, не вполне отдавала себе отчет, в чем состояла радость общения с ними. Конечно, они уже давно умерли. Я очень рада, что мне представился случай рассказать о них. Последней деталью, запомнившейся мне из их жизни – смерти, было то, что Анин кот Мурзик в день ее смерти выбросился из окна.

Так как получилось очень печально, приведу смешной эпизод из моей университетской жизни, косвенно связанный с кисловцами. Аня подарила мне тонюсенькое золотое колечко с бриллиантом, принадлежавшее Белочке. Я, конечно, его не носила, – думаю, меня сочли бы сумасшедшей, если бы во времена нашей юности я нацепила на палец кольцо. Но я очень любила его и, заметив однажды, что из него выпал бриллиантик, отыскала его на дне коробочки, завернула в бумажку (!) и положила в университетскую папку, намереваясь когда-нибудь отдать кольцо в починку. И вот однажды во время занятий по латинскому языку, которые вела уже отнюдь не молодая, полная, величественная, статная, женственная, с высокой старинной прической, в пенсне Жюстина Севериновна Покровская, во время чтения текста о том, после чего, где, как и когда Цезарь одержал победу над очередным небольшим народом, жившим там-то и там-то и оказавшим ему долгое и упорное сопротивление, я развернула бумажку и, обнаружив, что камешка нет, громко сказала, разумеется, в свой адрес: «Вот старая дура». Никогда не забуду, как Жюстина Севериновна, прервав чтение и опустив пенсне, воззрилась на меня преисполненным удивления взглядом. Что мне было делать? Сказать, что это не о ней, было бы так же неловко, как объяснять, что это я сама себя критикую. Пришлось промолчать. А камешек так и потерялся.

Думаю, что на первых порах жизни в Москве, задолго до моего появления на свет, папа чувствовал себя у кисловцев как дома. Он поступил в Московскую консерваторию по классу композиции к Анатолию Николаевичу Александрову, «Толику», как ласково называли его и коллеги, и студенты, и соседи по дому. Анатолий Николаевич Александров со всей своей семьей жил потом, когда построили первый дом композиторов, в нашем же подъезде, на восьмом этаже. Я узнала его хорошо уже после того, как не стало папы, но по легкомыслию или из робости не догадалась порасспросить его о годах папиного учения. Из многих воспоминаний об Анатолии Николаевиче самое яркое – это как мы стоим с ним на крыльце старой столовой в Рузе, переживаем летний быстрый дождь, и он просто шпарит мне один за другим длиннейшие палиндромы. Вот уж и дождь прошел, и кругом сверкают политые им цветы, листья, трава, кусты, а Анатолий Николаевич продолжает произносить палиндромы.

Анатолий Николаевич жил в нашем подъезде лет двадцать. Потом, когда семья его разрослась, – я была пионервожатой в классе его внучки Лены, теперь матери пяти или шести детей, живущей в радостном сознании своей силы, красоты, полезности, – они переехали в другой, 4-й подъезд, в пятикомнатную квартиру. Анатолий Николаевич постепенно терял своих близких. Сначала, довольно молодой, умерла его дочь Татьяна Александровна, потом жена – в прошлом балерина, – не потерявшая до самой смерти изящества и изысканности, невысокая блондинка с рыжиной, всегда необыкновенно любезная, Нина Георгиевна. Именно она, как выяснилось из рассказа Святослава Теофиловича Рихтера, преподавала ему пластику в тот недолгий период, когда он решил дирижировать. Сам же Анатолий Николаевич до девяноста с лишним лет и мирно скончался, оставив после себя много уче-

ников и музыки, камерной, симфонической, оперу «Бэла» по Лермонтову, которую, как мне вспоминается, все ставили-ставили и никак почему-то не поставили. Царствие ему небесное. Был человеком из прежней жизни.

Я много думала о том, почему мой честнейший папа совсем не разобрался в произошедшем. Вступил в партию. Видимо, роковую роль не только для него, но и для многих его сверстников сыграло взрывоопасное совпадение идеалистического возраста с идеалистическими и на вид красивыми идеями. Конечно, папа горячо верил словам, с рождения верил во все доброе, вычитанное в книгах, и до приезда в Москву не сталкивался с проблемами реальной жизни. И еще: все же музыка была относительно далека от властей – они, как, впрочем, и почти все остальные, ничего в ней не понимали. Власти понимали «слова», а писавшие серьезную музыку, симфоническую или камерную, могли сочинять достаточно свободно, не прибегая к помощи «слов». Им никто не мешал.

Да! Ну а как же Шостакович? Преступных гонений на него я не забываю ни на минуту.

Сокрушительный удар по опере «Катерина Измайлова», знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», каких только страшных уничижительных слов не бросали ему и коллеги, и чиновники всех рангов... Но в то же самое время мне совершенно очевидно, что если бы хоть кто-нибудь услышал, что говорил Шостакович во всех своих симфониях, квинтетах, квартетах и других «бессловесных» сочинениях, сгнить бы ему в тюрьме, как... несть им числа. А вот без слов жил всё-таки.

Музыковеды с легким сердцем приписывали ему в самых отчаянных финалах его сочинений «просветление» («просветленный финал»), – это когда разве что не слышен стук забиваемых в крышку гроба гвоздей.

И Шостакович продолжал писать: должен ли гений отвечать в творчестве на современные его жизни события – это трудный вопрос. Особенности личного человеческого склада неразрывно связаны с этим вопросом. Гений мог жить в своём мире, не допуская в него политику. До той поры, впрочем, когда она не становилась войной.

Однако похоже на то, что именно гении так или иначе с сокрушительной силой выражали суть своего времени. И, мне кажется, нет в XX веке ни художника, ни писателя, ни композитора, который бы с такой болью, яростью и полнотой описал все чудовищные страдания, насильственную смерть, уродства, принесенные в мир коммунизмом и фашизмом, как Шостакович. Для кого-то, может быть, это просто трагический гений, но для тех, кто прожил жизнь в нашей стране, Шостакович стал выразителем трагедии нашего народа, его горькой тяжкой доли. Как пишет Анна Ахматова в стихотворении «Музыка», посвященном Д. Д. Шостаковичу: ...Она одна со мною говорит, Когда другие подойти боятся, Когда последний друг отвел глаза, Она была со мной в моей могиле...

В Шостаковиче помещаются и Бунин с его «Окаянными днями», и Булгаков, и Платонов, и Зощенко.

Для нашей семьи важно написать, как реагировал на гонения Шостаковича папа.

Однажды, уже в конце 80-х годов, Ира Будашкина, дочь композитора Николая Павловича Будашкина, писавшего музыку для русских народных инструментов, в свое время известного композитора, автора любимых песенных мелодий («И были три свидетеля»...) – одна из немногих оставшихся на своих местах жителей нашего второго подъезда – зашла ко мне и протянула стенограмму Первого съезда советских композиторов.

– Почитай, – сказала Ира, – тут есть речь твоего папы и много еще чего интересного.

Признаюсь, я не без опаски сразу же бросилась искать папину речь и, о, какое я испытала облегчение. Больше всего я боялась, что он присоединится к хору хулителей Шостаковича, – член партии, занимавший уже тогда видное положение, – и в стенограмме, кстати, я нашла немало поразивших меня выступлений, совершенно неожиданных. Но папа оказался молодцом. Победила порядочность. Как подумаете, к кому можно с полным правом отнести

это когда-то вполне неэкзотическое качество, хватит пальцев на одной руке. Так вот папа, не скрывая своей полной растерянности, сказал примерно следующее: да что же это мы, друзья («товарищи», конечно, «товарищи»), вчера только взахлеб хвалили Шостаковича, считали его гением, а сегодня вдруг начали поносить его! Это же просто невозможно, ни в какие ворота не лезет.

Помню свое чувство огромного облегчения. Ведь люди, как мне кажется, вовсе не обязанные подпевать, подпевали. Впрочем, осуждать их – это самое простое, никто не обязан рождаться героем, а время стояло страшное. Одни и в самом деле быстро поверили партии и правительству, но, конечно, были и такие, которые спасали себя, в душе не принимая партийной абракадабры. Скажу, что, несмотря на все помои, которые в «перестройку» модно лить на Тихона Николаевича Хренникова, тогда еще совсем молодого человека, он хоть и осудил «формалистические приёмы», но выступил не оголтело, как многие его старшие соратники, а мягко, с явственно слышащимся глубочайшим уважением к Шостаковичу.

Среди хулителей оказались, к моему удивлению... нет, не стану их называть. Однако, на мой взгляд, это было не так омерзительно, как вещающие сейчас в обстановке полной свободы, в частности свободы от порядочности, нынешние носители идей современной музыки, недостойные мизинца гения. Многие модные нынче представители композиторской профессии обвиняют Шостаковича за вступление в партию, за какие-то вынужденные поступки. И, естественно, не упоминают о действиях Шостаковича, требовавших гражданского мужества, в тех случаях, когда они имели смысл. И Шостакович добивался правды. Но, главное, конечно же, музыка, в которой сказано все, что не под силу ни их дарованию, ни морали.

Но вернусь к папе. Человек бурного общественного темперамента, он со всей страстью и верой наивного человека бросился в самое месиво, варившееся вокруг искусства. Массовое искусство – эта идея увлекла его. Сблaзн приобщить к искусству широкие пласты населения в молодые годы оказался очень сильным.

Папа писал наряду с симфоническими сочинениями, не вызывавшими у правителей ни малейшего сочувствия, массовые песни, марши! У него были очень известные марши, и какой-то из них, недавно мной услышанный, показался мне даже как бы народным, без автора. Я очень удивилась, что этот марш написал папа.

Всецело преданный новым идеям, папа активно и бурно участвовал во всех музыкальных мероприятиях, связанных с лозунгом «искусство в массы». Они с мамой выступали (вместе с другими своими коллегами, молодыми композиторами) на заводах, фабриках, вели кружки. Папа со своей любовью пошутить однажды поставил маму в весьма затруднительное положение. Композиторы сидели на сцене в неизменном и неизбежном «президиуме», и пока длились какие-то ура-патриотические речи, папа искусно и незаметно опускал маме (тогда еще не его жене) за шиворот ключи. И когда мама пошла к роялю, они всю дорогу, звякая, падали на пол.

Папа был членом РАПМа, не из активных, а так называемый «попутчик»; дружил с Виктором Белым, Борисом Шехтером и самым, как всегда считали, талантливым и честным создателем песен для рабочих и крестьян – Шурой Давиденко. Так называла его мама. Среди ценнейших фотографий, принадлежащих моей семье, где можно найти самые неожиданные снимки, запечатлевшие, например, папу и Хачатуряна во время работ по упаковке муки (!), или маму на приеме у Хрущева, с выразительным скептическим выражением лица и скептически же сложенными на груди крест-накрест руками, хранится и фотография Шуры Давиденко, красивого, молодого, светлоглазого и светловолосого, с трогательной надписью маме и папе.

Хранится у нас дома и напечатанный на плохой серой бумаге сборник «Музыкальная самодеятельность», № 7, Москва, Музгиз, 1934 г., полностью посвященный памяти рано

умершего композитора А. Давиденко, «его творческой и музыкально-общественной деятельности». Как важно прочесть подлинный документ эпохи – только таким образом можно восстановить атмосферу, дух времени. Другой язык, всеобщее умопомрачение. При том, что Александр Давиденко был и в самом деле чистым и талантливым человеком. Посвящая ему прощальные слова, Владимир Георгиевич Фере, тоже житель нашего дома, впоследствии большой специалист по киргизскому фольклору, говорит: «Идейная стойкость и принципиальная непримиримость – эти качества были хорошо известны как друзьям, так и врагам Давиденко. Его отличала всегда непреклонная воля в достижении намеченной цели, исключительная прямолинейность и прямота в суждениях и действиях, сугубо честное отношение к творческой работе своей и других. Некоторые музыкальные обыватели приписывали ему демагогические приемы в спорах. О, как ошибались те, которые осмеливались произносить подобные суждения».

Еще один фрагмент из речи Фере, где он рассказывает об обстоятельствах смерти А. Давиденко. «Он умер, возвратившись с демонстрации в день пролетарского праздника 1 мая, с той демонстрации, которую он безгранично любил, которую никогда не пропускал без участия в ней, с той демонстрации, во многих и многих колоннах которой, без сомнения, звучали в этот день его песни...» В сборнике есть воспоминания А. Суркова, Р. Глиэра, Д. Локшина, М. Чулаки, А. Новикова и др. и, конечно, их все предваряет манифест рапповского вождя Л. Лебединского: «Композитор масс».

Руководитель «Проколла», страстный борец за массовую песню, Давиденко скончался недолгое время спустя после разгрома «мудрым» постановлением ЦК тех организаций, которым он служил верой и правдой: РАПМа, РАППа, РАПХа. На этот раз неожиданная и в кои веки спасительная мудрость ЦК для него как раз явилась ударом. По-разному убивали людей в те времена.

Есть в книге и папины воспоминания. «Когда я в первый раз побывал на собрании «Производственного коллектива» при Консерватории, я ушел с этого собрания с двойным чувством: с одной стороны, своего поражения, с другой – с огромной зарядкой для дальнейшей работы, – пишет папа. – Таков был метод воспитания людей в «Проколле». Организатор и вдохновитель этого коллектива, Александр Давиденко, умел сочетать в себе непримиримость и принципиальность критики с чутким подходом к каждому вновь завербованному товарищу. Заставляя глубоко задумываться и пересматривать свой творческий багаж, он никогда не запугивал, не оглушал, а, напротив, в огромной степени стимулировал волю к работе».

В тридцать четвертом году папе было около тридцати лет, революция и послереволюционная вакханалия лжи во имя всеобщего равенства уже крепко поработала над сознанием в прошлом верующего, воспитанного на мировых культурных ценностях, русской музыке и литературе Коли Чемберджи, любимца Спендиарова и его дочерей. Конец папиных воспоминаний ясно говорит о доброкачественности его новых воинственных (чего стоят обычные в ту пору выражения «завербованный», «запугивать» и так далее) убеждений: «Непреклонный боец, порой доходивший в отстаивании своих принципов до заблуждений и ошибок (намек на постановление ЦК. – В. Ч.), Шура Давиденко был для многих музыкальной «совестью», ибо Шура был самым честным, самым безупречным в своем общественном облике музыкантом и товарищем, образцовым и замечательным типом композитора, созданного нашей революцией».

Такие дела.

Папа вместе с Леоном Атовмяном и Лемпертом основал Музфонд СССР, еще тот, первый, на «Собачке», как обычно говорили, подразумевая Собачью площадку. Был его первым председателем. Папа заботился в основном о проблемах высшего порядка, восстановлении справедливости по отношению к членам Музфонда, поскольку был окончательно и беспо-

воротом лишен практической жилки. Атовмян же был гением практики и сделал много добра всем композиторам и их семьям и в мирное, и в военное время. Уже исполнилось больше семидесяти лет со дня нашей победы в Великой Отечественной войне, а мы с Катей по сей день укрываемся американскими шерстяными одеялами, выданными Атовмяном во время войны членам Музфонда.

Папа, Атовмян и Лемперт открыли знаменитые теперь Дома творчества – Рузу, Иваново. О Рузе я напишу отдельно, потому что, как и многие «композиторские дети», провела там чуть ли не треть своей жизни.

Папа много сочинял – я плохо знаю его ранние сочинения, скорее всего, несущие на себе отпечаток молодости, поисков, стремления «приблизиться к массам» и уже некоторого овладения новым языком. О сочинениях немного позже.

Папа жил, как говорили все и при его жизни и после смерти, на износ. Председатель Музфонда, заместитель председателя Оргкомитета Союза композиторов СССР, председатель множества всяких комиссий на радио, реперткомов и пр., всеобщий любимец, отдававший все, чем бы ни занимался, безраздельно, горячо и беззаветно; он в самом деле никогда не думал о себе, олицетворяя идеал пропагандируемой большевиками самоотверженности, и музыку писал по ночам. Уже умерли те люди, которые много-много раз рассказывали мне об этом. Вспоминаю, как лет десять или больше тому назад Александра Федоровна Шапорина, вдова композитора, женщина очень строгая и прямая, уже совсем старенькая, столкнувшись со мной в дверях все того же нашего второго подъезда, вдруг крепко схватила меня за руку и держа ее в своей сухой горячей руке, сказала:

– Ты знаешь, что твой папа был кристальным человеком?

Она сказала это неожиданно и с большим напором. Я ответила, что знаю, потому что именно это слово часто слышала от помнивших его людей. Но она сказала как-то особенно выразительно и, я бы сказала, требовательно.

А между тем арестовывали близких людей, исчезали из дома частые его посетители. Один из самых близких друзей Лев Квитко.

Читая «Дневник» Корнея Чуковского (1930–1969), невольно возвращаюсь к вере в Сталина. И какие люди верили! Б. Пастернак и К. Чуковский тшились разглядеть вождя на каком-то мероприятии: «Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением <...> Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко заслоняет его!» (на минуту). Еще из того же «Дневника»: «Косарев – обаятелен. Он прелестно картавит, и прическа у него юношеская. Нельзя не верить в искренность и правдивость каждого его слова <...> Ничего фальшивого, казенного, банального он не выносит. Какое счастье, что детская литература наконец-то попала в его руки. И вообще в руки Комсомола <...> для всего творческого подлинного здесь впервые будет прочный фундамент»².

Все это написано в 1936 году.

А вот и о Квитко. Сама я помню его только как большого, полного человека в сером костюме, очень-очень доброго. Это самое яркое воспоминание о нем. Доброта. И еще большой серый том чудесных стихов с трогательной дарственной надписью, исчезнувший из дома вскоре после исчезновения Квитко. Корней Иванович много раз и с необыкновенной теплотой и по отношению к творчеству, и по отношению к самому человеку упоминает Квитко, большого друга моих родителей. Привожу одно из высказываний:

² Чуковский К. И. Дневник (1930–1969). М., «Сов. писатель». 1994. С. 141.

«1936 год. Был у меня Квитко. В великолепном костюме, в европейском пальто. Читал замечательные стихи про медведя, обедал у нас. Квитко зовет в Киев. Он любит советскую власть поэтично и нежно»³.

Я душой вздрогнула, читая в «Новом мире» «В соблазнах кровавой эпохи» Наума Коржавина. Вздрогнула оттого, насколько точно Коржавин выразил мои чувства по отношению к тем, кто, подобно папе, позволил себя обмануть: «Те, кто, пользуясь чужим задним умом, пытается забросать сегодня грязью наивность духа ИФЛИ, должны знать, что эта грязь рикошетом вернется к ним, как всякая плебейская низость»⁴.

Нетрудно предположить, как с течением времени начала разрываться душа у папы, чтившего верность в дружбе, верность идеям. Верность. Полагаю, что подобные терзания испытывало немало честных людей. Не все всё понимали. Не все притворялись. И только те, кто продолжает «верить» после хрущевского доклада на XX съезде, вызывают во мне ужас и отвращение.

Болезненная драма, произошедшая в папиной жизни и оставившая горький след в моей памяти, касается его отношений с Арамом Ильичом Хачатуряном. Всю эту историю помню как сейчас.

Самым близким другом моих родителей был Арам Ильич Хачатурян. Он жил над нами, этажом выше, и я справедливо считала себя первой слушательницей всех его сочинений, поскольку его кабинет располагался над моей комнатой и, несмотря на особую, специально для дома композиторов, толщину стен, я слышала каждый звук. Арам Ильич любил свою музыку, играл ее с огромным увлечением, но только ее. Помню, как он поразился, увидев на пюпитре маминого рояля Шопена, Скрябина, Бетховена. «Зачем, Зара, тебе все это?» – искренно изумился он.

Хачатурян был председателем Союза композиторов, папа – его заместителем. Само собой разумеется, что основная часть работы падала на папу. Оговорюсь сразу. Всегда считала и считаю Хачатуряна исключительно талантливым композитором, развившимся несколько односторонне, наверное, именно потому, что так удивлялся, что можно играть не только свою музыку. Однако в жизни моих родителей он сыграл трагическую роль, и даже теперь, по прошествии многих десятков лет, мне тяжело писать об этом.

Хотя Арам Ильич и папа были очень близкими друзьями, рано или поздно суждено было им разойтись. Хачатурян, обладавший всеми чертами восточного деспота – необъективностью, достаточной жестокостью, а то и коварством, семейственностью, – человек, прежде всего, «личный», с одной стороны, и, с другой, папа, честный до, как говорила мама, «прямолинейности», от природы чуждый каким бы то ни было компромиссам, приверженный справедливости. Когда-то между ними должен был произойти конфликт.

Поводом послужило, скорее всего, недоразумение, разросшееся в глазах Арама Ильича в преступление, «предательство» со стороны папы. Составляя (не могу уже теперь сказать какой и когда) план радиопередач (а, может быть, и концертный репертуар), папа, стоявший во главе комиссии по составлению этого плана, ставил возле фамилий, предлагаемых к участию, крестики. Я и теперь точно не знаю, что обозначали эти крестики. Но только рядом с фамилией жены Хачатуряна – многотерпеливой Нины Макаровой (тоже композитора) – такого крестика не оказалось. О чем донес Хачатуряну его, пользуясь восточной терминологией, визирь – некто Камалдинов, вкрадчивый, гладкий – фигура нынче и вовсе позабытая. Как мне помнится, папа говорил маме, что как раз несмотря на свое скептическое отношение к творчеству Макаровой не собирался исключать ее из программы. Однако по доносу визиря разгневанный Арам Ильич, живя, как я уже писала, этажом выше, прислал папе оскорби-

³ Там же. С. 131.

⁴ Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи // «Новый мир», № 1, 1996. С. 178.

тельное письмо, в котором перечеркивал всю их дружбу, обвинял его в предательстве и в выражениях не стеснялся. Папа, крайне вспыльчивый, отличавшийся полным отсутствием хладнокровия, не считал возможным отвечать Хачатуряну по существу, поскольку его кодекс чести не позволял ему ни оправдываться, ни объясняться по поводу незаслуженных оскорблений, — он сделал совсем другое: красным карандашом он поправил все орфографические ошибки, во множестве рассыпанные в тексте письма Хачатуряна, и вернул ему письмо со своими исправлениями. С этого момента все было кончено. Прошло не менее тридцати лет, прежде чем Арам Ильич, не помню уж где, соблаговолил «заметить» маму, а через сорок лет даже дал мне интервью для американского радио. (В начале восьмидесятых годов я сделала десять интервью с выдающимися деятелями музыкальной культуры СССР и не считала возможным исключить из их числа Арама Ильича.)

Вскоре после этой ссоры у папы случился первый инсульт. Несчастье произошло с ним в ВОКСе (существовало в те времена такое престижнейшее Всесоюзное Общество Культурных Связей с границей). Во время приема он упал на пол без сознания. Наверное, он и умер бы тогда же, если бы крупнейшие врачи, которых по случайности не добил еще Сталин, не распорядились, чтобы его оставили лежать на месте падения три дня. Если бы его попробовали транспортировать в больницу, он умер бы сразу. Было это в 1946 году. На этом, собственно, почти кончилась папина жизнь.

Его положили в кремлевскую больницу, с потерей речи, парализованного, он пролежал там несколько месяцев. Я бы сказала, что жизнь его совсем кончилась на этом, если бы не два обстоятельства: одно значительное, а другое — не очень.

Одно — это настоящий папин героизм и творческий взлет. Он научился писать левой рукой (правой он так и не владел уже до конца своей недолгой жизни) и написал одно из своих лучших, а, может быть, и лучшее сочинение: Симфониетту. Сравнивая с каллиграфически выписанными папой партитурами сочинений, написанных до болезни, особенно больно смотреть на рукопись Симфониетты: выведенные нетвердой рукой ноты, волнистые линии тактовых черт, волнистые хвостики нот. Однако папина врожденная аккуратность сделала партитуру абсолютно читаемой. Написанная смертельно больным человеком, на пороге ухода из жизни, пронизанная страданием, Симфониетта и в своем необычном ритме, и в своих щемящих, но не мрачных темах — это композиторский успех. Надо сказать, что мама — это я уже забегаю вперед — несколько десятков лет спустя попросила замечательного музыканта Григория Соломоновича Зингера переложить это сочинение для четырех рук с тем, чтобы показать его на радио, в Союзе композиторов или Министерстве культуры. Зингер (в своем роде святой человек), увлеченный папиным сочинением, очень высоко его оценивший, с энтузиазмом, совершенно бескорыстно выполнил мамину просьбу и сделал прекрасное переложение. Дальше я помню совсем немного. Мама и Зингер замечательно играли Симфониетту в четыре руки и пытались записать свое исполнение на магнитофон с тем, чтобы где-нибудь представить ноты вместе с пленкой. Но запись почему-то не получилась. Увы, мама не довела так удачно начатое дело до конца.

В начале семидесятых годов Геннадий Николаевич Рождественский начал понемногу исполнение неизвестных до той поры сочинений советских композиторов. Мама, близко знавшая Наталью Петровну Рождественскую, замечательную камерную певицу, которая, кстати говоря, пела много маминых сочинений — детских камерных и романсов, — позвонила ей и попросила, чтоб Геня, сын, посмотрел Симфониетту. Наталья Петровна с готовностью откликнулась на эту просьбу, и ноты были переданы. Ответа долго не было, потом Наталья Петровна позвонила, попала на меня и попросила о встрече. Помню, как, полная плохих предчувствий, я шла к ней по дощатым мосткам вдоль тротуара на Садовой Триумфальной (шел очередной многолетний ремонт тротуаров) в серый пасмурный день с мелко морозящим с неба каким-то тюремным киселем. Неподалеку от дома меня ждала Наталья Петровна,

как всегда скромнейше и старомодно одетая в черное суконное с котиковым воротничком пальто, с добрым интеллигентным лицом. Наталья Петровна, виновато улыбаясь, передала мне ноты, объяснив что-то невнятное, но обозначающее отказ Гени исполнять папино сочинение. На этом все и закончилось.

Отвлекусь немного, чтобы объяснить, почему называю Геннадия Рождественского Геней. Я знала его с раннего возраста, так как Наталья Петровна, ее сестра Галина Петровна и Геня жили в соседнем подъезде. Эти женщины полностью посвятили свою жизнь всестороннему воспитанию талантливого мальчика. Вспоминаю, как, заглянув к нам домой и лишь бросив взгляд на одну из картин, Геня небрежно проронил: «А, Лорансен». У меня эта репродукция висела много лет – любимая картина матери Володи, француженки, но чтобы кто-нибудь из гостей сразу определил художника, – такого я что-то не помню. Энциклопедически образованный, великолепно читавший с листа любые партитуры (Николай Петрович Раков, живший этажом выше Рождественских, переиграл с ним в четыре руки все, что только было переложено или написано для четырех рук), следовательно, владевший полным арсеналом музыкальных знаний, он силами этих двух замечательных женщин стал тем, кого они хотели в нем видеть: дирижером с мировым именем, мирового масштаба.

Помню некоторые эпизоды из детства Геннадия Николаевича. (Их можно рассматривать как руководство к действию в тех случаях, когда подобные стремления продиктованы объективными качествами действующего лица.) У Гени был строжайший режим. Он выходил гулять ежедневно ровно на тридцать пять минут, и я помню, как в один зимний день он эти тридцать пять минут катал меня по нашему двору на санках.

В сорок седьмом или сорок шестом году в Яун-Ду-бултах на Рижском взморье (тогда там тоже был Дом творчества композиторов) мы жили в одном коттедже с Натальей Петровной и Геней. Мне было не то десять, не то одиннадцать лет, а Гене, мне кажется, шестнадцать. Наша совместная жизнь в одном маленьком коттедже убедительно свидетельствует о том, как немедленно (это было у нас в стране очень широко принято) изменились положение и жизнь папы после болезни. В пору его расцвета ему бы дали в основанном им Музфонде просторный отдельный коттедж, а теперь, больному, предложили разделить маленький двухкомнатный, где в одной комнате жили мы вдвоем, а в другой Наталья Петровна, Галина Петровна и Геня. И мы жили, конечно, очень дружно и часто играли в игру «из слов слова». Так как я в ту пору была девочкой более или менее начитанной, то неплохо играла в разные словесные игры. Так вот: если я делала из какого-нибудь слова двадцать других, то Геня делал сто. Еще помню, как великолепно он играл на рояле. Вообще в тот год на Рижском взморье жили многие замечательные люди: Давид Федорович Ойстрах, под страхом смертной казни заставлявший четырнадцатилетнего Игоря заниматься на скрипке, Святослав Теофилович Рихтер, игравший на пляже в волейбол, чем неизменно приводил меня в полное отчаяние, так как я боялась за его пальцы. Я была тогда смешной толстой девочкой, – по-видимому, очень смешной, потому что в восьмидесятые годы Святослав Теофилович рассказал однажды, что прекрасно запомнил меня. «Вы были очень смешная и симпатичная», – сказал он со своим характерным произношением твердого «ч». Запомнил, конечно, не из-за того, что я была такая смешная, а благодаря своей совершенно уникальной памяти. И мне очень жаль, что в моей книге о нем не без помощи влиятельных персон мало свидетельств этой памяти. Как-то в своей маленькой кухоньке на Большой Бронной Святослав Теофилович в течение пятнадцати минут (я записала его монолог на магнитофон) перечислил мне на память один за другим подряд не менее пятидесяти фильмов, которые он смотрел, начиная с первого, увиденного в детстве, и подряд все остальные, со всеми актерами, сюжетами, режиссерами и так далее. Из книги это выбросили, потому что это, мол, несерьезно. «Что он, киношник, что ли?» – спросила Нину Львовну Дорлиак очень важная дама.

Жили в тот год на взморье и победительные Ольга Васильевна Лепешинская со своим мужем, генералом КГБ Райхманом, и Юровские – Симона Давыдовна и Владимир Михайлович с сыном Мишей, уже тогда находившимся под плотной опекой семьи (так продолжалось и в консерватории, так это и по сей день, но уже в других землях и странах). Интеллектуальные, эрудированные отец и сын Коревы, высокие, красивые, обаятельные, без всякой спеси; Келдыши; красавчик Лева Гинзбург, «иностранец» Лепин.

Но вернусь к возможным причинам нежелания Г. Н. Рождественского исполнять Симфониетту моего отца. Это, конечно, всего лишь мои домыслы. Папа ведь при жизни не принадлежал к числу гонимых композиторов. Напротив, был, что называется, на волне. Его много исполняли, играли, Антонина Васильевна Нежданова пела его «Улыбку». Он принадлежал скорее к руководителям, фигурам нынче априори одиозным. Года два-три тому назад мой молодой друг, отличный музыковед, покинувший Россию по не зависящим от него обстоятельствам, сказал мне: «Валентина Николаевна, вы бы написали о своем отце, а то он выглядел слишком однозначно, рапмовец, партиец».

Не все произведения папы, написанные им в молодые годы, равноценны по качеству. На многих, я думаю, лежал отпечаток искреннего советского оптимизма и достаточно формальных поисков нового языка. Но Симфониетта была совсем другим сочинением. Папа стал человеком, побывавшим на пороге смерти, пережившим аресты близких друзей, разрыв с Хачатуряном, войну.

Мне бывает смешно и горько читать, сколько композиторов и с какой готовностью соглашались (только предлагай) с тем, что побывали на фронте. В ряде случаев невозможность этого очевидна по чисто хронологическим причинам. Папа же действительно побывал. В сборнике «Советские композиторы – фронту»⁵ помещены две страницы его текста: «<...> Хотя я сделал кое-что на фронте как композитор, не это, однако, явилось определяющим итогом моего пребывания в частях действующей армии: да, по правде говоря, я слабо верил и тогда, и теперь в возможность плодотворной творческой работы в условиях переднего края. Я уделял основное время и внимание людям фронта, их повседневной и, так сказать, будничной боевой работе. И встреч с людьми я искал тоже преимущественно в обстановке их боевой деятельности. Должен сказать, что хотя рассказы бойцов и командиров дали мне очень много, но несравненно больше я испытал, когда по приказу командующего артиллеристы полка, расположенные позади нас, открыли огонь, действие которого мы наблюдали с наблюдательного пункта; или когда, отправившись на снайперскую “охоту”, я на обратном пути получил первое боевое крещение. Мысли и чувства, с которыми я вернулся с фронта в Москву, углубили и ускорили мою работу над “Героической поэмой” для симфонического оркестра, кое-какие наброски были мною сделаны еще до поездки на фронт.

Не могу сказать, чтобы результаты моего труда меня вполне удовлетворили, но, так или иначе, поэма была закончена и исполнена впервые в апреле 1943 года. <...> Следующую свою симфоническую работу я писал на основе более свойственных мне мелодических интонаций (преимущественно в духе армянской народной песни). Однако по пути к завершению этого очередного своего опуса я (в течение очень короткого времени) написал свой Третий струнный квартет в форме темы с вариациями. Сочинение это, по внешним своим признакам как будто никак не связанное с непосредственной тематикой войны, будучи, в сущности, глубоко лирическим высказыванием, воплощенным к тому же в сугубо камерном жанре и в вариационной теме, является, однако, в большей степени, чем все другие работы военного времени, моим творческим ответом на события Отечественной войны. <...>

Война научила всех, в том числе и нас, советских художников, относиться к своему труду с большей ответственностью и серьезностью, чем когда бы то ни было раньше. <...>

⁵ Советские композиторы – фронту. М., 1989. С. 38–39.

> Подняться до уровня великих задач, стоящих перед нами, оказаться на художественной высоте их воплощения в музыкальном творчестве – к этому должны быть направлены все наши стремления, вся воля...»

Такие совершенно искренние, наивные и ходульные фразы, типичные для того времени, написал папа вместо того, чтобы поделиться своими конкретными воспоминаниями о фронте, о тех днях, которые сдружили его с генералом по имени, как ни странно, тоже Николай Карпович, но Ефременко, часто у нас бывавшим, а потом исчезнувшим (увы, не знаю его дальнейшей судьбы). Он рассказывал нам с мамой о совершенном папином безрассудстве. О том, что папа не хотел подчиняться команде «Ложись», доставляя ему немало хлопот, но вызвал в то же время симпатию полным отсутствием инстинкта самосохранения, отвагой, самоотречением.

Аресты, война, болезнь стояли за лучшими произведениями папы, Третьим струнным квартетом, Симфониеттой.

Я упоминала и о втором – незначительном по масштабу – обстоятельстве, связанном с концом папиной жизни. Это обстоятельство носит совершенно личный характер. Из-за болезни отойдя от всех дел, папа получил возможность проводить время со мной. Немного этого времени было ему и мне отпущено. Он теперь уже не только точно знал, в каком классе я учусь (родители совершенно не были в курсе моих школьных дел), но и носил в кармане пиджака мой табель со сплошными пятерками и при каждом удобном случае им хвастался.

Больно вспоминать, как он прогуливался вдоль нашего дома по тротуару, волоча ногу, с повисшей рукой и виноватой улыбкой на лице.

Следующий, второй инсульт произошел непосредственно во время съезда композиторов. Через три дня он скончался дома, не приходя в сознание.

У меня есть стенограмма этого съезда, где предлагается почтить минутой молчания его память. Папа похоронен на Новодевичьем кладбище, и на его памятнике выгравировано «Лауреат Сталинской премии». Долгие годы мне было очень горько читать эту надпись, это проклятое имя на памятнике моего папы. Горько и теперь. Но я решила ничего не менять. Во-первых, так хотела мама, а во-вторых, мне кажется, такие вещи менять нельзя. Премия была присуждена ему за Третий струнный квартет. Начинаясь как рыдание, он всегда вызывает у меня слезы.

И еще одно сочинение папы, которому, я надеюсь, суждено возродиться к жизни, это балет «Сон Дремович».

Либретто написано Касьяном Голейзовским – одним из самых выдающихся балетных постановщиков мира, человеком немыслимой силы фантазии. Ему очень понравилась музыка. Но и у этого балета судьба сложилась неудачно. Голейзовский великолепно поставил его силами Хореографического училища Большого театра, и я прекрасно помню премьеру концертного исполнения этого балета (или генеральную репетицию?) на сцене Зала имени Чайковского. Особенно мне понравился танец цыплят. Стояли в ряд большие яйца, и из них вдруг выбежали – вылупились желтые воздушные создания и под остроумную музыку исполнили очаровательно окрашенный юмором необычный танец. Вообще все было необычным и, насколько я теперь могу осознать, в балетном смысле камерным и вместе с тем праздничным, трогательным. Успех был огромный, но тут как раз подоспело постановление партии, подвергшее уничтожению всю деятельность Голейзовского как формалиста, чуждого, безыдейного и дальше весь набор привычных эпитетов. И это при том, что Голейзовский практически был создателем, например, фильма «Цирк». Постановку сняли в тот же миг, как вышло постановление. Осталась партитура. Сюиту из балета записали на радио, и один из номеров балета, «Колыбельную», каждый вечер играли перед сном для детей, как теперь по телевизору «Спят усталые игрушки» А. И. Островского. Поэтому отчасти папино

имя было так хорошо известно представителям старшего поколения, поколения родителей, которых уж давно нет.

После смерти папы исполнение его музыки прекратилось. Боюсь, клятвы Д. Б. Кабалевского, произносившиеся им над гробом папы, а потом, спустя двадцать восемь лет, над гробом мамы, играли роковую роль в судьбе их произведений. Об этом я еще напишу.

В шестидесятые годы мама взяла партитуру из Хореографического училища ГАБТа и сделала переложение нескольких номеров партитуры для фортепиано. Их издали, играют в музыкальных школах. Но когда совсем уже недавно, в 1993 году, дирижер Проваторов, с которым я волею судьбы встретила в Мадриде, попросил у меня партитуру балета Чемберджи «Сон Дремович» с тем, чтобы, может быть, поставить его, выяснилось самое ужасное: балет пропал. Дома я нашла лишь несколько страниц партитуры и все. Ни в ЦГАЛИ, ни в библиотеке училища ГАБТа нот не оказалось. Так что рукописи горят. Осталась лишь партитура сюиты по балету «Сон Дремович». И либретто Голейзовского в ЦГАЛИ. И я понимаю, что восстановление балета потребовало бы немалого времени и желания, не говоря уже о реальном воплощении.

Так трагически рано, в сорок четыре года, оборвалась папина жизнь. Но папа успел окунуть меня в мир истинных духовных и душевных ценностей жизни. Он первым стал давать мне книги. И чуть ли не самой первой из них мне вспоминается изумительно изданный до революции, красный с золотом, с восхитительными иллюстрациями под папиросной бумагой, Жуковский. Как замороженная, я рассматривала эти иллюстрации сначала сквозь папиросную бумагу (чтобы продлить удовольствие), потом отгибала ее и читала подписи: например, «Ундина», такое красивое имя! Так я прочитала «Ундину», читала ее много-много раз – не все было мне понятно, но пришло чувство красоты, в те годы, конечно, неосознанное. В этом же томе мне запомнился перевод «Лесного царя» Шиллера – я все никак не могла поверить в трагический конец стихотворения. Благодаря Жуковскому я на всю жизнь получила особое, романтическое представление об искусстве перевода.

«Светлана», «Раз в крещенский вечерок...» – ничего этого я толком не понимала, но тянуло таким обаянием, уютом, человечностью прошлого. Я изучила этот том вдоль и поперек.

И только потом папа дал мне Пушкина, я читала Сказки, «Повести Белкина», и «Барышня-крестьянка» нравилась мне отчего-то больше всего. Марк Твен, Фенимор Купер, Жюль Верн, Чарская (удивительно, что именно ее книги пропали из нашей квартиры за время недолгой нашей эвакуации из Москвы), Вальтер Скотт (никогда его не любила) – все это папа. А Майн Рид... Боже, какие имена на всю жизнь: Луиза Пойндекстер, Генри Пойндекстер, Исидора Каварубио де Лос Ланос, злодей Кассий Кольхаун, и предмет особой любви, но не такой выразительный – Морис Джеральд. А Зебулон Стумп... Сомневаюсь, что я могла бы с такой легкостью перечислить по именам героев куда более значительных литературных произведений. Из советских книг папа дал мне «Белеет парус одинокий» Катаева и «Два капитана» Каверина. Этой книгой я зачитывалась до одурения. Просто влюбилась в Саню Григорьева, Катю (именно тогда я решила, что назову своих детей Катя и Саша, и так оно и получилось), курящую Марью Васильевну, ненавидела предателя Ромашова и коварного Николая Антоновича. Капитан Татаринов внушал мне абстрактное восхищение. «Бороться и искать, найти и не сдаваться» – этот девиз, который придумал для своего героя Вениамин Александрович, очень сильно на меня действовал, и я не знала тогда, что именно так, как рыцарь без страха и упрека, прожил жизнь он сам.

С этой, одной из самых любимых в детстве книгой, связана случившаяся со мной трагикомическая история. Папа, бывало, брал меня с собой, когда наносил какие-нибудь не совсем официальные визиты. Так он привел меня когда-то, еще до своей болезни, к Борису Ливанову. Я знала, что это один из знаменитых актеров МХАТа, робела, но всю рассмат-

ривала внушительную фигуру этого человека, говорившего непередаваемо глубоким и оглушительным басом. Ливанов решил уделить внимание и мне, он приблизился и спросил: «А что ты сейчас читаешь, девочка?» – «Два капитана», – ответила я. – Уже прочитала». – «А какая часть тебе больше понравилась, первая или вторая?» – спросил Ливанов. И тут я «схитрила». Мне, конечно, больше нравилась первая часть, я перечитывала ее десятки раз, а вторую никак не могла осилить до конца. Но ведь я наверняка ничего не понимаю, – подумала я про себя, – и раз он спрашивает, когда тут и так все ясно, это означает, что вторая лучше и я просто в ней не разобралась. На первый взгляд слишком очевидно, что первая интереснее. – Вторая, – ответила я. – Жаль, – коротко ответил Ливанов и потерял ко мне всякий интерес. Был мне хороший урок: говорить правду. Вообще-то я всегда говорила правду, но был и другой казус, повлиявший на мои понятия чести и честности.

Как и все дети, я не любила заниматься. Я училась в районной музыкальной школе на Пушкинской площади, во дворе бывшего там когда-то кинотеатра «Центральный». Уже тогда, конечно, существовала знаменитая ЦМШ, школа для особо одаренных детей, куда, однако (конечно, не с такой обязательностью, как теперь), отдавали своих чад разные крупные начальники и музыканты. Мама хотела, чтобы я училась в ЦМШ, ей нравились пьески, сочиненные мною во время эвакуации, – в особенности «Коровушка печальная» (мама утверждала, что я называла ее «Коровушкой бычальной»). Но папа категорически отказался отдавать меня в эту школу, считая крайне неудобным, чтобы его дочь появилась в известной школе как бы по протекции.

Как-то в отсутствие моих родителей я благополучно прогуляла положенные мне для занятий сорок минут во дворе, где мы с упоением играли в тогдашние знаменитые детские игры: прятки, салочки, штандер, двенадцать палочек, прыгали через веревочку, играли в волейбол и т. д. Потом я вернулась домой, а тут и папа пришел. На вопрос о занятиях я ответила утвердительно. Да, мол, занималась. И ушла в свою комнату. Потом меня стала мучить совесть, и я решила, что будет очень красиво признаться в том, что на самом деле я не занималась. Я пошла к папе и гордо призналась в своей лжи. Никогда не забуду, как кровь буквально бросилась ему в голову, он побагровел и, в первый и последний раз, довольно чувствительно дал мне понять свой гнев. Именно за это так называемое «благородство» признания. Оно показалось ему хуже, чем, в общем-то, невинная и обычная детская ложь.

Наши вкусы обычно совпадали. Папа и сам любил «Три толстяка» Олеши, и я вслед за ним влюбилась в очаровательную атмосферу этой книги, нежную, романтическую. В ее замечательный сюжет, тайное обаяние имен (Суок!) – вообще участие принцев, кукол – все, без чего трудно (и не надо) представить себе детство.

Я рылась в полном собрании сочинений Тургенева, и почему-то особенно сильное впечатление произвела на меня повесть «Клара Милич» (издание было дореволюционным, присланным папе его няней). По-видимому, на меня всегда сильно действовало обаяние имен, названий.

Рядом с зачитанными томами Тургенева лежали почему-то растрепанные тома из полного собрания сочинений Салтыкова-Щедрина, и их я тоже читала – эти собрания были куда более полными, чем те, с которыми я имела дело впоследствии. Дореволюционные, неоскопленные издания сильно отличались от тенденциозно и трусливо подобранных сборников советского времени.

Однажды по радио «Свобода» я услышала какую-то особенно глубокую характеристику происходящих сейчас событий, настолько поразившую меня уровнем мышления, что я, мысленно отбросив как возможных авторов любимых мною Стреляного, Селюнина, Войновича и прочих, выслушала передачу до конца, и тут-то и оказалось, что весь этот анализ принадлежал Салтыкову-Щедрину. Благодаря папе я прочитала в детстве Сервантеса и несколько романов Диккенса. Как я благодарна папе за то, что в чтении нашла опору, кото-

рая помогла и помогает мне выстоять в шаткой нравственной атмосфере жизни, которую мы все прожили.

Романы Диккенса производили на меня огромное впечатление, в особенности «Домби и сын», «Оливер Твист». Я рыдала над ними, а впоследствии Урия Гипп и Ромашов слились для меня в одну фигуру предателя.

Помню, единственным разочарованием, постигшим меня, было имя Агнеса. Я умудрилась прочесть всю книгу, читая это имя как Ангеса, и мне оно казалось волшебным-прекрасным. И вот, помню, году в 44-м – еще шла война – мы с мамой спускаемся к Черному морю по длинной-предлинной лестнице, и я взахлеб рассказываю ей про Ангесу. И вдруг мама спокойно, как будто ничего не случилось, поправляет меня: наверное, Агнеса. Я не могла поверить, плакала, побежала домой, проверила имя на каждой странице, где оно встречалось. Агнеса.

Был август, мы жили на Кавказе, в Мокапсе, в Доме отдыха Большого театра. Ходили в горные аулы, там покупали кукурузу и груши дюшес – огромные, золотые, сочные. Жители были полны доброжелательности и достоинства. В нашем коттедже под полом жили змеи. Вокруг ходило много нарядных красивых людей – артистов Большого театра. Я их боялась и смотрела на них только издали. По-моему (тайно, конечно), влюбилась в молодого мужчину, как я теперь понимаю, типа Грегори Пека. Почему-то он всегда ходил в коричневой модной городской шляпе. К сожалению, выяснилось, что у него была жена. Мне было тогда восемь лет.

Давал мне папа и роскошно иллюстрированную «Историю искусств» Гнедича, и именно тогда я прониклась античностью, Римом, Грецией... Этим летом, блуждая по Форуму в Риме, где мы с моим мужем Марком в буквальном смысле этого слова сбили себе в кровь ноги, я ни на минуту не забывала «Римский Форум» – иллюстрацию из Гнедича. Только на ней все в целостности и сохранности, как оно когда-то было. Не удивительно ли, что, кончив классическое отделение Московского университета, я помнила в этот момент (в эти часы) именно Гнедича, картинку, увиденную в шесть или семь лет, и вовсе не перебирала своих как бы фундаментальных знаний, полученных в университете. У Гнедича я впервые увидела Венеру Милосскую, Парфенон.

Каждое воскресенье папа водил меня в Большой театр на оперу или балет. Я переслушала все шедшие тогда на сцене Большого театра оперы-сказки Римского-Корсакова. Они шли днем, специально для детей. Видимо, очень важно вовремя увидеть все, предназначенное единственно для восхищения, и тем спастись от не всегда нужных рефлексий, возникающих на месте отсутствия непосредственного воздействия.

Помню еще и то огромное впечатление, которое произвела на меня сама сцена Большого театра. В антракте папа, личность там известная, попросил, чтобы мне разрешили вместе с ним пройти на сцену. Очутившись на ней, я просто не могла поверить, что сцена – это такая громадина, высоченная и широченная, – целая площадь. Это чувство потрясения и врезавшийся в подкорку характерный театральный запах декораций, кулис, бутафории навсегда остались в памяти. И гордый папа, державший меня за руку. Гордый тем, какое чувство я испытала благодаря ему. На эту сцену десятки лет спустя я запросто попала благодаря Саше, который играл на ней Скрябина на вечере памяти Пастернака, избегала ее вдоль и поперек в поисках каких-то нужных для представления причиндалов. Но это были уже совсем другие времена и нравы.

Вместе с папой ходили и в драматические театры. Вместе посмотрели раз десять «Город мастеров» Тамары Габбе – обожали этот спектакль, все в нем было в меру: зло – горбун в черном, страшно загримированный – и победа добра. С этим жила, а в жизни больше видела победу зла. Увы.

Очень хорошо помню (вплоть до платья, в которое была одета, – благо, их было раз-два и обчелся), как мы с папой смотрели «Обыкновенный концерт» в театре Образцова. Этот замечательный спектакль Образцова в самом начале назывался именно «Обыкновенный концерт», и в этом и была вся соль. Как же мы с папой хохотали в тот вечер, до слёз, до боли в скулах. Однако в «инстанциях» сочли такое название неуважительным к простому советскому концерту и рекомендовали Образцову переименовать его в «Необыкновенный». Папа настолько огорчился от этого переименования, что даже не искал ему никакого оправдания. Как бы мне хотелось, чтобы из этих по существу небогатых воспоминаний сложился хоть сколько-нибудь внятный образ папы.

Приложение

Большой друг нашей семьи и мой лично – Эсфирь Михайловна Рачевская, человек редкой душевной чистоты – написала безыскусные, трогательные воспоминания о своей дружбе с папой и мамой. Она подружилась с папой особенно тесно за два года до его кончины, и мне хотелось бы привести некоторые отрывки из ее воспоминаний, которыми она заполнила половину общей тетради в красной клеенчатой обложке, хранящейся у нас дома.

Инженер по образованию, Эсфирь Михайловна в определенный период своей жизни сопровождала в ссылку нашего генерального конструктора Сергея Королева, с которым очень подружилась, как и со всей его семьей. Ее главной чертой была доброта. Когда она скончалась, я ощутила, что потеряла последнего близкого человека, который печалился и радовался печалью и радостью моей семьи. Жить стало холоднее, ушел человек, любивший моих родителей, меня и моих детей. Никто ее не заменил. И после концертов, которые Саша давал с семилетнего возраста, его не ждал «лимонник».

«<...> В июле месяце 1946 года я по путевке приехала в подмосковный санаторий на станции Подлипки.

По приезде в санаторий меня поместили в трехместную комнату на первом этаже. Рано утром я услышала крик одной из отдыхающих в нашей комнате: “Держите вора!” Я открыла глаза и увидела молодого, высокого, рыжего человека, собиравшего наши вещи, сколько можно было удержать в руках. Услышав крик, он выпрыгнул в окно и исчез.

Осведомленная об этом происшествии, дирекция явилась к нам в комнату. Узнав приметы вора, директор сказал: “Это тот самый вор, который ограбил вчера композитора Чемберджи. Он влез к нему в комнату и на глазах у композитора снял со стула его пиджак и удрал”.

Директор сказал: “Эти два случая впервые произошли в нашем санатории. Надо немедленно сообщить об этом в милицию, чтобы они начали поиски этого вора”.

Таким образом я узнала, что Николай Карпович находится в этом санатории. Николай Карпович Чемберджи и его жена Зара Александровна Левина жили в доме композиторов на Третьей Миусской с 1938 года, где жили и мои родственники – семья Григория Семеновича Гамбурга. Григорий Семенович Гамбург был отличным музыкантом-альтистом, композитором и дирижером Оркестра кинематографии, профессором Института имени Гнесиных. Он был образованным человеком, наделенным острым умом и своеобразным юмором. Эти качества Григория Семеновича привлекали Николая Карповича и Зару Александровну, поэтому они часто бывали в семье Гамбурга, где я с ними познакомилась.

<...> На следующий день после того как нас обокрали, я встретила с Николаем Карповичем. Он обрадовался встрече со мной, так как нуждался в общении с людьми, знавшими его раньше.

Прошло шесть лет со времени нашего знакомства. Я с трудом узнала Николая Карповича. Он плохо ходил, рука несколько повисла, речь была нечеткая, он часто заикался.

Николай Карпович заметил мое смятение и сказал: “Вот такое несчастье меня постигло – инсульт. Зара поместила меня в этот санаторий для того, чтобы я дышал свежим воздухом и был под наблюдением врачей”. Я ответила: “Болезнь ваша в общем прошла, теперь постепенно будете поправляться, и все у вас пройдет бесследно”. Он добродушно улыбнулся. На следующий день приехала Зара Левина, она меня сразу узнала и очень обрадовалась, что и я нахожусь в этом санатории. Она отвела меня в сторонку и сказала, что ездит в санаторий предупреждать дежурную сестру, чтобы та не называла Николаю Карповичу его настоящее давление, которое у него всегда очень высокое. Он должен быть уверен, что выздоравливает, это надо ему всячески внушать.

Обязанность предупреждать дежурных сестер, чтобы они не говорили Николаю Карповичу правду о его настоящем кровяном давлении, я взяла на себя. Кроме того, я обещала в свободное от процедур время находиться с Николаем Карповичем. Я честно выполняла свои обещания, позднее обязательства перешли в потребность, так как общаться с Николаем Карповичем было очень интересно. Он был разносторонне образован, много знал.

Однажды в санатории показывали какой-то интересный фильм. Николай Карпович почувствовал, что мне хотелось посмотреть этот фильм, и заявил, что тоже пойдет в кинематограф. Мы пошли. Я усадила Николая Карповича у открытого окна, чтобы ему легче дышалось. Только начался фильм, как показ его прервали. На сцену вышел человек и сказал: “Чемберджи, Рачевская, назвал еще две фамилии девушек, которые жили со мной, – на выход!” Он повторил это два раза. Мы вышли и увидели легковую машину. К нам подошел милиционер и сказал: “Садитесь”. На наши вопросы: куда? зачем? – он ответил: “Там узнаете”. Я настаивала на том, чтобы Николай Карпович не ехал: больной человек, не надо его тревожить. Милиционер ответил, что мы едем в Клязьму, это рядом. “Вас задержат ненадолго, обратно довезут на этой же машине до санатория”. Мы недоумевали, но поехали.

Привезли нас в милицию, провели в большую комнату и ввели мальчика лет 12–14, цыгана со жгучими черными заплаканными глазами и черными кудрями, а за ним ворвались человек двадцать цыганок и цыган. Они шумели, жестикулировали, бросали на нас злобные взгляды. На нас напал столбняк. Мы не понимали, что происходит, при чем здесь мы. Тогда милиционер, обращаясь к нам, спросил: “Узнаете?” Мы хором спросили: “Кого?” “Вора, который обокрал вас”, – ответил он. “Мы же давали приметы вора, – сказали мы, – высокий, худой, рыжий молодой человек, при чем тут этот мальчик – цыган?” Тогда милиционер освободил мальчика. Цыгане теперь улыбались нам дружелюбно, они увели с собой мальчика, милиционер извинился перед нами за недоразумение и довез нас на машине до санатория. Мы попросили милиционера, чтобы нас больше не водили на опознание, пусть уж лучше вещи пропадут. Но милиционер ответил: “Таков порядок. Вора надо найти”.

На следующий день приехала Зара Александровна, она долго смеялась своим заразительным смехом. Вместе с тем она опасалась, как отразится наше путешествие в милицию на здоровье Николая Карповича. Все обошлось благополучно.

Николай Карпович и я обычно сидели на открытой террасе, примыкавшей к его комнате. Николай Карпович вспоминал свои детские и юношеские годы, которые он провел в Крыму, в Ялте, в семье своего дяди, известного композитора Александра Афанасьевича Спендиарова. Он с благодарностью вспоминал, как тепло относилась к нему вся семья Спендиаровых. Матери своей он не помнил. Она умерла молодой от чахотки. Валентина Афанасьевна была талантливой художницей, некоторые ее произведения сохранились у Николая Карповича до сих пор. Рассказывал, как он любил море, как его тянет к морю, голубому небу, солнцу. Судьба свела его с Зарой – она так же, как и он, тосковала по Крыму, по морю. Он говорил, что Зара – самый дорогой и любимейший его друг, она поддерживает его в самых трудных жизненных ситуациях. Обладает даром понимать людей, Зара – талантливый музыкант и композитор, и что это очень важно, когда близкий человек понимает твою творче-

скую деятельность. Он нуждался в ее поддержке, так как считал, что Зара сильнее его духом. Говорил о дочке Валечке, которую любил безгранично. Зара и Валечка, эти два существа, ради которых он хотел жить и творить.

Однажды во время мертвого часа мы сидели на террасе и мирно беседовали. Вдруг Николай Карпович стал страшно смеяться, весь трясся от смеха, указывая рукой на человека, идущего мимо нашей террасы. Я посмотрела на этого довольно солидного человека в очках – он был босой, ноги выше колен обнажены, через плечо перекинута одеяло, на голове в виде чалмы повязано полотенце. Николай Карпович знал этого человека – известного хирурга. Оказалось, что в этот жаркий день, поскольку в Подлипках не было реки, хирург поехал поездом на Клязьму (одна остановка). После купанья он вышел на берег, оказалось, что все его вещи украли. Он вынужден был возвращаться в Подлипки в одних плавках, из проходной позвонил в свой корпус, чтобы ему вынесли одежду, – ему принесли одеяло и полотенце, и потому он шел в таком виде. Нас рассмешил еще один эпизод: мимо нашей террасы прошла народная артистка Варвара Николаевна Рыжова. В руках у нее были: гамак, гвозди, молоток, клещи, подушка. Встречные отдыхающие, видя, как она тащит эту тяжелую ношу, забрали у нее это хозяйство, подыскали ей место в парке и с трудом повесили гамак. Варвара Николаевна легла в гамак и начала что-то углубленно читать. Но не успела она начать, как появилось солнце, оно мешало ей читать, тогда она попросила проходящих изменить место. Они трудились, мокрые от жары, клещами вытаскивали гвозди, нашли место и с большим трудом снова повесили ей гамак. Только она улеглась, как солнце пришло и на новое место. Так ей несколько раз перевешивали гамак, пока она, разозлившись, не попросила отдыхающих отнести к ней в комнату все ее хозяйство: гамак, гвозди, молоток, клещи, привезенные с собой из Москвы. Все такие смешные эпизоды вызывали у Николая Карповича положительные эмоции. Он был весел, речь стала почти нормальной, он стал уверенней ходить. В такие минуты его не покидало чувство юмора. В остроте юмора ему нельзя было отказать.

Но случилось непредвиденное. В один из воскресных дней мы, проводив Зару Александровну с Валечкой в Москву, возвращались обратно. По аллее санатория навстречу нам шел на вокзал профессор Егоров – он был у кого-то в гостях. Когда мы поравнялись, профессор Егоров подошел вплотную к Николаю Карповичу, поздоровался с ним, посмотрел на него в упор и спросил: “инсульт”? Николай Карпович ответил: “да”. Тогда профессор Егоров махнул рукой перед лицом Николая Карповича, сказал: “безнадежно” и ушел.

Николай Карпович сразу стал спотыкаться. Из его руки выскользнул мячик, которым он тренировал пальцы поврежденной руки. Еще немного, и мы упали бы оба, потому что удержать его я не могла. К счастью, неподалеку от нас я увидела актрису Серафиму Германовну Бирман, она возвращалась с теннисного корта вместе со своим партнером. Я крикнула: “Помогите!” Они услышали и мгновенно подбежали к нам. Мы втроем почти на руках принесли Николая Карповича в его комнату. Тут же появились и санаторные, и отдыхающие врачи. Заре Александровне нашли комнату вблизи санатория сроком на десять дней. Врачи, Зара Александровна и я провели огромную напряженную работу, чтобы убедить Николая Карповича в том, что у него нет ничего серьезного, что все позади.

Понемногу Николаю Карповичу стало лучше, он снова стал ходить, речь стала улучшаться, давление немного понизилось, хоть и оставалось еще высоким. Зара Александровна пригласила нас с Николаем Карповичем к себе на “Зарин борщ”. Дело в том, что Зара Александровна варила по собственному рецепту такой вкусный борщ, что в семье он так и назывался “Зариным”. После санаторного обеда мы с Николаем Карповичем пошли есть “Зарин борщ” – он действительно был таким вкусным, что мы попросили добавки.

Вскоре срок пребывания Зары Александровны закончился, и они с Валечкой уехали в Москву. Мое пребывание в санатории тоже приближалось к концу.

В день моего отъезда вдруг открылась дверь в мою комнату. Вошел Николай Карпович с цветами. Я испугалась, так как жила на втором этаже, а Николаю Карповичу было строго запрещено подниматься по лестнице. Кроме того, я была поражена таким преподношением таких роскошных цветов – красные розы и белые лилии. В окрестностях санатория было совершенно невозможно достать такие цветы. Эта тайна не разгадана до сих пор.

Николай Карпович сказал, что после Зары я – его лучший друг, просил, чтобы я всегда была рядом с Зарой, что он ей это тоже сказал. Этот завет Зара выполняла до конца своих дней. Мы с Николаем Карповичем обнялись и долго плакали. К вечеру я уехала в Москву.

Через несколько дней уехал из санатория и Николай Карпович, несмотря на то что ему продлили срок.

В Москве мы виделись довольно часто, через некоторое время Николай Карпович с Зарой Александровной поехали в санаторий для ученых «Узкое». Им дали двухкомнатный номер, в одной из комнат я гостила у них пять дней.

Потом я уехала в длительную командировку, а когда возвратилась, Николай Карпович лежал дома без сознания.

Я узнала, что был съезд композиторов. Зара Александровна как делегат уехала на этот съезд. Она просила Николая Карповича не ездить, но он не послушался ее и поехал. Там он разволновался из-за некоторых несправедливых выступлений, ему стало плохо, – его привезли домой без сознания. Он так и не пришел в сознание и через несколько дней скончался в возрасте сорока четырех лет.

Во имя осуществления своих идей не только в музыке, но и огромной нервной общественной работе Николай Карпович пожертвовал своим здоровьем и своей жизнью.

Панихида состоялась в Союзе композиторов, где было несметное количество людей не только в помещении: вся улица была запружена людьми и машинами. Милиция сдерживала поток людей, пришедших проститься с Николаем Карповичем. Было огромное количество венков и цветов. Произносились проникновенные речи, некоторые композиторы выступали с проникновенными словами, обязывающими опекать Зару и Валю. Но, увы, эти слова остались пустыми. Никто семью Николая Карповича не опекал. У гроба стояла Зара Левина, она одной рукой держала за руку свою дочь Валю, а другой крепко сжимала мою руку».

Глава вторая. Наш дом

В 1938 году композиторы въехали в свой первый дом, который и по сей день стоит на старой московской улице. В 1938 году эта улица носила свое исконное название – Третья Миусская, под стать Первой и Второй Миусской, Миусской площади и своим соседкам – Тверским-Ямским улицам и переулкам. Короче говоря, на Миусах, как говорили и говорят до сих пор москвичи.

Дом был построен архитектором Людвигом по проекту, созданному им специально для музыкантов: если посмотреть на фасад дома немного издали, видно, что он имеет форму органа, и этому способствует разная высота этажей, сплошь застеклённые до самой крыши пролёты лестничных клеток, оконные полусферы, стремительные вертикали, взмывающие вверх, подобно трубам органа.

Спустя некоторое время после войны улицу в честь чехословацкого главы коммунистического режима переименовали в улицу Готвальда. Это было для москвичей совершенно новое название, и, объясняя адрес, надо было каждый раз добавлять: «бывшая Третья Миусская». «Аааааа». «Чехизация» наших краев была вызвана местонахождением чехословацкого (тогда именно так) посольства и многочисленных сопутствующих ему учреждений, вызвавших волну дальнейших переименований в окрестностях: Гашека, Фучика и т. д.

И вот на пятом году перестройки Готвальда заменили на Чайнова. Замечательный ученый, идеалист, создавший продуманную теорию сельскохозяйственных артелей, верно служил отечеству, за что – никто не удивится – и был расстрелян в тридцать седьмом году. Не обрело покоя его светлое имя. Почти никто не знает, кто это. Теперь, когда называешь улицу Чайнова, обязательно надо добавить: «бывшая Готвальда». «Аааааа».

Почему не вернули улице принадлежность к славным Миусским, не догадаешься. Чиновничьи фантазии при всей своей незамысловатости логике не поддаются.

Итак, в памятном для композиторов старшего поколения (увы, почти никого из них уже нет с нами) 1938 году, счастливые и молодые, они въехали в свой первый дом (один из первых советских кооперативов). Въехали и в самом деле чуть ли не все жившие в ту пору советские композиторы. И поэтому я задала тогда свой известный вопрос: «Мама, а Петуховен в нашем доме живет?» Спустя долгое время кто-то рассказал об этом в моем присутствии как анекдот. Когда я запретендовала на авторство, то встретила некоторое недоверие. Уже не было в живых Лидии Антоновны Раковой – она с неиссякаемым удовольствием не уставала напоминать о моем вопросе и мне самой, и всем окружающим. Жившая в соседнем подъезде Лидия Антоновна, крошечная женщина, в прошлом балерина, жена профессора Московской консерватории Николая Петровича Ракова, преподававшего до самой смерти инструментовку на композиторском факультете Московской консерватории. О нем мне еще предстоит рассказать.

Упомянув слово «кооператив», я вспомнила и о том, как Сталин, когда дом уже был построен, вдруг расщедрился и вернул композиторам их взносы, из-за чего они получили возможность купить мебель и обставить свои новые квартиры. Был он, конечно, злодеем непростым, умел при случае и покупать, не только убивать. Наверное, все новоселы чувствовали к нему благодарность.

Кажется, я могу вспомнить в точности всех обитателей нашего второго подъезда, по крайней мере, с нашей стороны. Мы жили на третьем этаже. Под нами жил нарком Николай Антонович Соснин (это тоже одна из повадок советской власти – поселить в интеллигентском доме какого-нибудь номенклатурного работника). Уровень жизни Соснина существенно отличался от композиторского. Это я поняла, когда, подружившись с его дочерью Маришей, получила в подарок на день рождения ящик пирожных, и эти эклеры, «напо-

леоны», корзиночки врезались в память невиданным натюрмортом. Надо сказать, о жене Соснина («самого» я плохо знала, хоть он и был всегда очень любезен при встречах, некий таинственный господин в синем пальто и синей шляпе, мягко нырявший в черную машину) я сохранила самые теплые воспоминания. Удивительно добрая, совершенно лишенная какой бы то ни было спеси, связанной с высоким положением мужа, Татьяна Валериановна, красивая, деятельно сочувствующая, всегда готовая прийти на помощь, вызывала в воображении героиню тургеневских времен, с их добрым сдержанным достоинством и скромностью, – вот уж это качество намертво вышло из моды.

Сейчас я подумала, что наш второй этаж был в те времена этажом Татьян. Напротив этой Татьяны жила другая – в ту пору для меня «тетя Таня» Поляновская – несчетное количество раз я бывала в гостях у тети Тани, она угощала меня хворостом – хозяйка была изумительная – и выслушивала все мои детские, а потом и недетские рассказы. Что в ней всегда поражало меня, хоть в слова не облекалось: безупречность. Безупречность внешнего облика, аккуратные седые буколки, наглаженные блузки, ни одной лишней детали в туалете, немножко кружева, камей у воротничка, всегда ласковый голос. В наши времена всеобщей распушенности, грубости, узаконенной свободы в лексиконе я не могу ее представить себе. Что бы она делала...

Над нами, в квартире 22 жил Арам Ильич Хачатурян, в квартире 24 – его жена композитор Нина Владимировна Макарова и их сын Карен (Реник), в квартире 26 – композитор Николай Павлович Будашкин с женой, двумя дочерьми и двумя сыновьями, в квартире 28 – Дмитрий Борисович Кабалевский с женой Ларисой Павловной и сыном Юрой, в квартире 30 – Анатолий Николаевич Александров с женой Ниной Георгиевной и дочерью Татьяной и, наконец, на самом последнем – девятом – этаже композитор Иванов-Радкевич с женой и детьми, Костей и Наташей, обладательницей самой толстой золотой косы в Москве и ее окрестностях. В дальнейшем многое переменялось: в квартиру Александрова, переехавшего в четвертый подъезд, переселился Юрий Александрович Шапорин с женой и двумя сыновьями – тогда для меня Славиком и Шуриком – моими товарищами по дворовым играм.

В дальнейшем Кабалевский и Хачатурян переехали в дом композиторов на улице Огарева. Анатолий Григорьевич Новиков с женой и двумя красавицами дочерьми Мариной и Любой и Ваню Ильич Мурадели с женой как признак наивысшего расположения властей получили право на переезд в высотный дом на Котельнической набережной. Что ж, «Эх, дороги, пыль да туман, / Холода, тревоги да степной бурьян», – эту песню я пела, аккомпанируя себе на «своем» пианино и всякий раз заливаясь слезами всю войну. Ваню Ильич прославился песней о Бухенвальде, другими, как тогда говорили, «партийно-патриотическими песнями», но более всего вошел в историю как бы не через парадный подъезд, а благодаря тому, что попал в число заклеимённых постановлением 1948 года композиторов – врагов народа – Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Попасть в эту компанию при любом раскладе, с моей точки зрения, было знаком почета. Но дело было не в музыке его оперы «Великая дружба». Она шла бы себе и шла, поскольку никаких признаков западного упадничества и всякой буржуазной пакости там не было. Но вот случилось так, что Сам Хозяин, любитель и «знаток» опер, скрывшись за спины единомышленников и сидя как всегда в ложе слева от сцены, уловил какие-то дикие с его точки зрения несурезицы в либретто, касающиеся истории Грузии, и просто вышел из себя. Так бесславно кончилась жизнь оперы «Великая дружба» Ваню Мурадели, а заодно и великих сочинений Прокофьева и Шостаковича.

Напротив Сосниных, как я уже говорила, жил Георгий Александрович Поляновский с Татьяной Семеновной и сыном Светом. Напротив нас жил Юрий Сергеевич Милютин с женой Ксенией Алексеевной и дочерью Наташей, над ними, напротив Хачатуряна, жил композитор Чугунов, и одна комната в этой квартире принадлежала как рабочий кабинет папе, потому что два композитора (мама и папа) не могли жить в одной квартире. Выше – Григорий

Семенович Гамбург с женой и дочерью, композитор, альтист и постоянный дирижер всех фильмов, снимавшихся на Мосфильме, над ним Старокадомский, Половинкин. Кажется, всех вспомнила.

Предназначенный композиторам дом отличался необычайной толщиной стен, сообщающих интимность процессу творчества, не делая каждую ноту докучливым достоянием соседа.

Для меня, однако, самым интересным и любимым персонажем среди этого созвездия имен была наша лифтерша – Паня. Создание удивительное, – по-видимому, татарка, широкоскулая, некрасивая, в постоянном надетом набок темно-синем берете, из-под которого выбивались неровно отрезанные жесткие черные волосы, с черными, глубоко посаженными, диковато выглядывавшими из-под низкого лба глазами, настолько курносый носом, что он состоял как будто из двух частей под прямым углом, неказистая, робкая; но главное состояло в том, что Паня была добрая, и мне это было ясно. Сердиться у нее не получалось.

Она сидела внизу на холодной площадке рядом с лифтом и свято выполняла свои обязанности, состоявшие именно в том, чтобы сидеть рядом с лифтом, в ту пору очень красивым, сделанным под красное дерево, с зеркалом, скамеечкой и медными украшениями, не то что нынешний сейфообразный «Отис». Мое воспитание по переезде в новый дом было поручено теперь ей. Родителей, конечно, или не было дома, или они сочиняли и их нельзя было беспокоить, и функцию кисловцев теперь выполняла Паня. Ее воспитание, как ни странно, в чем-то совпадало с заданным на Кисловке курсом – она старалась сделать из меня благонаправленного ребенка. Это было очень трудно – по лестнице я спускалась только верхом по перилам и, съехав таким образом с шикарным завершающим спуск через несколько ступенек соскоком, я здоровалась со своей любимой Паней и улепетывала во двор, где и проводила почти весь день. Паня замирала в ужасе перед моим эффектным финальным прыжком с перил и просила вовремя прийти обедать.

Одной Пане (не родителям!) я могла признаться в том, что при первой же возможности тайком бежала в гости к тете Кате Мещерской, – она жила в шестом подъезде, став женой некоего седовласого музыкального деятеля (ничего о нем не знаю), им принадлежала одна комната в коммунальной квартире. Всегда веселая, радушная хозяйка своего домашнего очага, открытая к радости (и это после стольких лет тюрьмы, лагерей), она притягивала меня своей книжной непохожестью ни на кого из обитателей дома. Я обожала ее, и она относилась ко мне с трогательной нежностью. Вышила мне на грубой холстинке изящную салфеточку с надписью: «Пей чай, тетю Катю вспоминай», дарила какие-то удивительные вещицы из своей дореволюционной жизни: крохотный голубой термометр, «чугунок» из тончайшего фарфора (конечно же, как я уже писала в первой главе, как вещь истинно драгоценная, он разбился), совсем крохотную куколку. Она давала мне читать красные старинные книги из серии «Маленькие короли», она рассказывала мне часами о своей жизни, я тоже делилась с ней всем, что происходило в моей девятилетней жизни. Из-за нее я раз и навсегда поняла, что такое «порода». Вытянутое лицо, крупный нос, небольшие добрые голубые глаза, светлые мелкие кудряшки, обрамлявшие лицо, сухоощавая фигура, элегантность облика. Она не была красива. Она была прекрасна. Выражение ума, доброты, высокого миропонимания, всепрощение, кротость, бескорыстие делали ее такой. Не удивительно ли, что Паня ценила все это по достоинству? Она понимала все.

Паня не очень хорошо разбиралась в специфике занятий жителей нашего дома, но относилась к ним с уважением. Мне очень нравилось, как она произносила некоторые слова: Михаила Рафаиловича Раухвергера из соседнего подъезда она называла Урахвербером, Анатолия Николаевича Александрова только Александровым (с ударением на «о»), а волейбол, в который я играла, улетболом. Вот уж действительно «народная этимология», которую я много лет спустя изучала на языкознании в университете.

Сейчас, когда я пишу о Пανε, ее уже нет. А годы, описываемые мною, это конец войны и ранние послевоенные. Как определить природу такого человека, как Паня? Видимо, совсем необразованного, далекого от общественных проблем и вместе с тем настолько доброго и ответственного, что родители вполне могли спокойно доверить ей отчаянного ребенка, каким я была в детстве? Видимо, ей в полной мере было присуще врожденное чувство душевной культуры. Многие-многие годы спустя Паня переселилась в соседний, первый подъезд, где ей дали комнату. Она стала как-то по-новому, нарядно одеваться и вела себя уже без всякой робости, с большим достоинством. Я любила ее всю жизнь. Для меня всегда было большой радостью встретить ее рядом с домом и рассказать про свои дела. Паня знала, когда у меня экзамены, никогда не забывала спросить, как и что я сдала, гордилась моими успехами. Как сейчас помню ее радостный возглас при виде меня, уже взрослой девицы, ее заинтересованное лицо и вопросы, вопросы без конца. Не без оснований Паня считала меня своей воспитанницей.

Жизнь в новом доме была ключом. Я помню шумные сборища в нашей квартире, куда стекались друзья из всего дома, – Григорий Семенович Гамбург с женой Рахилью Соломоновой – Илей (Иля дожила до 96 лет и в 1998 году скончалась в своей 25-й квартире, оставаясь до конца своей жизни в здравом уме и твердой памяти), Арам и Нина, «Урахвербер», Кабалевский, Раков. Шум стоял страшный. Предполагалось, что я могу в этом гаме спать. Что мне запомнилось? Музыка, споры, взрывы хохота всю ночь напролет. Однажды, помню, я проснулась в тишине, пошла на разведку и обнаружила, что дома никого нет. Тогда в ночной рубашке я вышла из дверей, поднялась этажом выше к Хачатуряну и предстала перед всей компанией как немой укор. Родители вернулись.

Я, конечно, была совсем маленькая, но почти уверена в том, что в новом доме композиторов в эти два предвоенных года царили дружба и неподдельная радость общения. Веселье. Вот что запомнилось мне из тех первых лет.

Между тем это были одни из самых страшных лет отечественной истории. Впрочем, не весь ли двадцатый век...

Нашу семью война застала в Крыму, в доме Варвары Леонидовны Спендиаровой, куда мы приехали на лето. В ночь на 22 июня выла собака бабушки Вари, и бабушка сказала, что это плохая примета. А наутро объявили, что началась война. Конечно, совсем смутно помню, как в семье начались споры: бабушка Варя с сыном Тасей не хотели уезжать и не уехали. Их, как я уже писала, по семейным преданиям, расстреляли немцы. Тетя Ляля с дочкой Машей, мама, я, тетя Таня – все срочно выехали в Москву в переполненном поезде. Прекрасно помню обстановку общей паники в Феодосии, переполненное здание вокзала, растерянные лица, слёзы, неизвестность, – меня посадили около сваленных в кучу наших вещей – сторожить... Тогда-то и спасла меня тетя Ляля Спендиарова, прибежавшая за мной и часто впоследствии вспоминавшая, как на перроне, перед набитым до отказа поездом я произнесла: «Я, кажется, вступила в сырость»...

Москва, тревога, неизвестность. Мама не желает уезжать со мной в эвакуацию и оставлять папу в Москве. Она стоит над сундуком, растерянно перебирает какие-то вещи и очень определенно возражает папе. Но, несмотря на эту определенность, я чувствую почему-то, что на этот раз, как ни странно, папа одержит верх и мы куда-то поедem. Так и случилось. На вокзале в суматохе, неразберихе среди теряющих друг друга беспомощных родственников, очень аккуратно уложенные в полосатые на матрасники вещи Хренниковых, которые Клара Арнольдovна успела упаковать фундаментально.

Мы пробыли в эвакуации совсем недолго. В конце концов после обычных мытарств мы оказались в Уфе, в одной комнате с очень симпатичной старушкой. Туда приехал потом ненадолго папа и написал даже «первую башкирскую оперу» «Карлугас» («Ласточка»). Она долго шла на сцене уфимского оперного театра. Смутно помнятся мне в Уфе папин друг,

веселый, быстрый дирижер «Петя» Славинский с каверзными дочерьми Фридой и Мурой, и Наталья Петровна Рождественская. Из личных впечатлений самое яркое – слово «строфа», красивое и совершенно непонятное. Книг не было, но у нашей хозяйки, старенькой бабушки, в чьей комнате нам выделили угол, как сейчас помню, нашлась хрестоматия для шестого класса, и в ней было это загадочное слово «строфа».

Еще помню разноцветные бархатные шнурки – потрясающую игрушку, которую мне подарила бабушка, и кусок сахара на весь день, который я честнейшим образом на весь день и растягивала. Вообще моя «примерность», наверное, была бы и вовсе противной, если бы одновременно я не была такой сорвиголовой во всем, что касалось детских забав, в особенности зимних, например, катания на санках с самых высоких и обледенелых гор и пр. Поэтому, помню, когда я, снова благодаря папе, вовремя читала «Детство Никиты», то просто кожей ощущала морозный воздух и счастье, испытанное Никитой, когда, встав утром, он обнаружил у крыльца новые, пахнущие свежим деревом санки. Ведь говоря о санках военной поры своего детства, я, конечно, имею в виду обыкновенную фанеру. Но то, что случилось потом, было хуже всякой фанеры. Потому что, когда мы уже вернулись в Москву, мне купили санки, но не нормальные, а с каким-то мягким стульчиком, украшенным бахромой, с высокой спинкой – в общем двухэтажные, которых я страшно стеснялась, считала позором. Уфу, в отличие от Свердловска, вспоминаю даже с нежностью. Может быть, из-за бабушки, или потому что мама много была дома, со мной, – холод был страшный, но у меня был мягкий продавленный диван, и после гуляния мне было очень уютно засыпать на нем, размышляя над таинственным словом «строфа».

Мы вернулись с мамой из Уфы в Москву в 1942 году, раньше всех в нашем доме. Помню, как в Уфе Наталья Петровна Рождественская увещевала маму не торопиться. Тут я должна сказать, что мама каким-то естественным образом, не задаваясь глобальными вопросами, чувствовала полную уверенность в том, что война – явление временное, что она скоро кончится нашей победой и все снова будет, как раньше. Когда папа, напичканный всей информацией, к которой имел доступ в силу своего положения, позволял себе высказывать опасения, мама презрительно называла его «паникером», и папа немедленно стушевывался.

В Москве все было темно. Затемнение. На окна опущены шторы из синей плотной бумаги, две белые бумажные перекрещивающиеся полосы на стеклах, в небе повисли аэростаты, каждый день объявляли воздушную тревогу. Бомбили театр Вахтангова, Большой театр, Арбат, Гоголевский бульвар. Мама и тут оставалась верна себе. Мы ни разу не спустились в бомбоубежище, находившееся в нашем же доме. Мы садились в нашей передней втроем, папа, мама и я – с куклой Тамарой на руках, и пережидали тревогу втроем, так как мама твердо внушила нам с папой мысль, что мы должны погибнуть все вместе. Мне, вероятно, по молодости лет (шести) не было страшно. С родителями разве может быть страшно? Поскольку объявление по радио звучало так: «Тревога миновала», помню, уже тогда все с удовольствием приняли на вооружение вопрос знаменитой бабушки Покрасс (матери братьев Покрасс, которые, конечно же, тоже жили в нашем доме): «Миновало уже было?» С семьей братьев Покрасс у меня связано много забавных воспоминаний. Знаменитое высказывание их мамы: «Си – во всем мире си», – разве не замечательно? С чьих-то слов знаю о будто бы происшедшем в Кремле разговоре после просмотра Сталиным американского фильма «Три мушкетера».

– Это тот Покрасс, который написал песню о Гражданской войне? – спросил Сталин.

– Нет, товарищ Сталин. Этот живет в Америке.

– Жаль, – сказал Сталин.

По приезде в Москву в военные годы меня поразили три вещи: метро, печенье «Метро» (очень удачное сочетание печенья с шоколадом) и галоши, которые мама покупала в «лимитном» магазине. Красота галош. Этот незабываемый малиновый цвет под-

кладки. Черный ослепительный блеск резины. Жаль, что галоши, несмотря на мои отчаянные старания, быстро теряли свой праздничный вид. Конечно, я тогда не понимала, что такое лимитный магазин. Просто очень хороший магазин и все. Навсегда запомнила американскую помощь, поступавшую композиторам, как я уже писала, благодаря Атовмяну. Папину клетчатую куртку, шерстяные одеяла, которые нам служат до сих пор, и, конечно, толстый американский шоколад. Из страшных военных воспоминаний, кроме охватившей взрослых паники во время выезда из Крыма, со мной, как самые сильные, остались два: первое – это мамина спина в драповом пальто под вздрогнувшим и вроде тронувшимся с места вагоном поезда, под которым мы зачем-то пролезали глубокой ночью, а потом долгая поездка опять же не знаю куда на запряженной лошаадьми бричке в кромешной тьме и постоянно мигавшими вокруг и позади зелеными огоньками. Когда мама спросила нашего извозчика, что это такое, он равнодушно ответил: «волки». Еще как меня рвет (я болела коклюшем) прямо на черную кожу роскошного дивана, а мама почему-то довольна (впоследствии я узнала, что это происходило в кабинете какого-то крупного партийного шишки, который, по мнению мамы, расщедрился и предоставил нам жилье, только испугавшись моей рвоты). Это было в Свердловске, который показался мне тогда очень красивым и совершенно обольстил словом «Кафе», написанным большими синими буквами. Притягательность и таинственность этого слова сохраняется для меня по сей день.

Вот и весь мой личный военный опыт. Страха у меня не было никакого, потому что его не было у родителей, – лет мне было уж совсем мало, чтобы понимать что-нибудь.

Вот что я хорошо помню – это праздник Победы – 9 мая 1945 года, когда мы с моей главной подругой Нелли пошли на Красную площадь, и весь этот путь по улице Горького, запруженной толпой счастливых, смеющихся, плачущих от радости людей, и, конечно, салют. Люди были полностью объединены в чувстве счастья. (Нечто подобное мы все пережили в 1991 году после путча. Он и путчем-то не был – где же ленинские телеграф, железная дорога и еще что – но тогда показалось, что коммунистам пришёл конец.) Узнать правду о войне довелось многие годы спустя, уже после смерти папы и только после смерти нашего отца генералиссимуса. И то не сразу. Все было ложью, и книги, и веселые фильмы – все. Пока не появились книги Владимова, Быкова, Кондратьева, Ржевской, а в кино «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Иваново детство» и многое-многое другое. Долго жили в полной лжи.

Наш же дом доживал оставшиеся три страшных года войны спокойно, если не считать воздушных тревог. Он был еще почти пустым, мы вернулись из эвакуации первыми.

Папа, как я уже писала, несколько раз ездил на фронт, мама сочиняла, папа тоже, они работали, а я еще в военном 1943 году пошла в школу, о которой вспоминаю всю жизнь с нежным чувством. Холодный класс, казарменный, недружелюбный, с тремя рядами черных парт, ядовитый цвет стен, каждая тетрадка на вес золота, перья рондо, «непроливайки», перочистки, девочки – я попала ровно на те десять лет, когда Сталин ввел раздельное обучение, – почему-то вспоминается все это как счастье. Странные вещи происходят в жизни: нас, например, учили, что хорошие манеры или галстук у мужчин – это пережитки буржуазного прошлого, что родители – это вообще нечто весьма второстепенное и подозрительное, что не следует обращать внимания на их мнения, а главное – это учителя, и много еще каким глупостям нас учили, но при этом научили писать всех каллиграфическим почерком, «с нажимом» и, вбив в наши головы некие идиотские и лживые идеалы, вбили одновременно и то, что они все же существуют. Поэтому, мне кажется, что лишившись их после смерти вождя народов и доклада Хрущева, мы заменили потерянное чем-то все же приобретенным: добросовестностью, честностью, наличием совести. Странно это все. Хоть и трагедию наше поколение тоже пережило страшную: полное крушение веры в то, что казалось незыблемым. Ведь после смерти папы я по ночам молилась Сталину, чтобы мама не болела.

Помню, на филологическом факультете были даже случаи самоубийств. Открывшиеся бездны совершенных преступлений сыграли в моей жизни существенную роль, изменив ее в совершенно неожиданном направлении. До разоблачения Сталина я была (видимо, в папу) яркой общественницей, в 14 лет уже секретарь комсомольской организации (это в седьмом-то классе – большая редкость) и тоже была наделена ораторским даром, во всяком случае, даром убеждения. Помню, убедила своей речью весь класс не списывать, не подсказывать и учить уроки.

Но поступив в университет, уже в 1958 году, отказалась заранее от всякой общественной работы и пошла на классическое отделение, где преподавали древнегреческий и латынь дореволюционные в основном профессора, и получила таким путем возможность, по крайней мере, никогда в жизни не врать, потому что в моей специальности этого не требовалось, если не ставить целью сделать карьеру, ссылаясь на любовь В. И. Ленина к древнегреческому языку.

Возвращаясь к обитателям нашего дома, № 4/6 по Третьей Миусской улице, хочу поделиться только тем, что видела и слышала, что пережила сама, – встречи, разговоры, длинные и мимолетные, дорогие мне детали прошлой жизни.

Например, незабываемые прогулки по Миусскому скверу с Самуилом Евгеньевичем Фейнбергом.

Композитор, пианист, профессор по классу фортепиано в Московской государственной консерватории, он возглавлял семью, богатую талантами, хотя, мне кажется, самым талантливым был именно он. Самуил Евгеньевич, с гривой седых волос, зачесанных назад, довольно длинных, носом с горбинкой, имел настолько вдохновенный облик, что никто бы не задумался, определив его принадлежность к искусству. Музыкант или художник, похожий одновременно на Эйнштейна и Листа. Это был добрейший, старинного склада человек, олицетворение изысканного аристократизма и интеллигентности без всяких отягчающих политических пристрастий и некомпетентного вмешательства в жизнь общества.

Брат Самуила Евгеньевича, Леонид Евгеньевич Фейнберг, был художником, мастером живописи. В юности он провел много времени в Коктебеле в обществе Марины Цветаевой и Максимилиана Волошина. Ему принадлежат многочисленные их фотографии, портрет Волошина он подарил мне, я его бережно храню. В своей книге «Марина Цветаева. Жизнь и творчество» Анна Саакянц пишет: «Благодаря Волошину, а также совсем юному тогда будущему художнику Леониду Фейнбергу, сделавшим множество снимков, сохранился «коктебельский» облик Марины Цветаевой»⁶.

Когда я вспоминаю Леонида Евгеньевича как художника, у меня прежде всего встает перед глазами замечательное его полотно: портрет первой жены Марии Ивановны Коровиной.

Ее я никогда не видела, но даже от скупой на восторженные оценки людей мамы всегда слышала, что это была совершенно удивительная женщина, необыкновенной доброты, ума и высоты духа.

Леонид Евгеньевич был вовсе не похож на своего брата, красивый, благостный, с мягкими чертами лица. Он дожил до глубокой старости, был человеком верующим. В канун его смерти я видела поразительный сон: мне приснилось, что Леонид Евгеньевич из «царства белых цветов» – так это называлось во сне – делает один шаг и попадает в «царство розовых цветов». Море цветов приснилось мне. На другой день я узнала, что Леонид Евгеньевич скончался, и мне его смерть представилась во сне как шаг из царства белых цветов в царство розовых.

⁶ Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., Эллис Лак, 1997.

Дочь Леонида Евгеньевича и Марии Ивановны – Сонечка Прокофьева (конечно, в те времена – теперь уж скорее Софья Леонидовна, хотя, насколько я знаю, все по-прежнему называют ее Сонечкой), талантливая поэтесса, художница, а потом и драматург, но, пожалуй, наибольший успех ей принесло детское творчество. Все же я вспоминаю ее на первых порах как лирическую поэтессу. Однако лирические стихи были тогда не в моде. И она надолго забросила и поэзию, и живопись и обратилась к более насущным литературным профессиям, где преуспела. И все же мне кажется, что ее основным даром был поэтический. Она вышла замуж в первом браке за Олега Прокофьева, и уже взрослой женщиной я очень подружилась с сыном Сонечки и Олега – Сережей, внуком Сергея Сергеевича Прокофьева и Лины Ивановны Люберы, плодом воспитания Дюди – так называл Сережа Леонида Евгеньевича, внушившего Сереже глубокое религиозное чувство.

Сережа стал фанатическим последователем Штайнера, антропософом. Я помню, как все это начиналось в брежневской Москве, – тайные сборища, медитации, всегда в страхе перед КГБ. Но, надо сказать, КГБ, видимо, не придавал особого значения московским антропософам, не вмешивался в их деятельность и не опасался последствий медитаций. Помню, каких героических усилий потребовало от Сережи его призвание. Необыкновенно красивый, с глубоко сидящими синими сияющими глазами и аристократическими чертами лица, останавливающий на себе внимание всякого, кто видел его, Сережа за какие-то буквально считанные месяцы превратился буквально в живые мощи, только одни глаза сверкали на его исхудавшем лице. Сережа учил немецкий язык. Он овладел им в совершенстве, так как понимал, что в любом случае антропософские пути ведут в Германию, и начал изучение трудов Рудольфа Штайнера. Вот что значит призвание. На что он рассчитывал? Как мог представить себе свой отъезд в Германию? Ничто его, однако, не останавливало. Единственный человек, на кого он мог надеяться, был его отец, который после развода с Сонечкой женился на англичанке и уехал навсегда в Англию. Сонечка же вышла замуж за свою первую любовь – Виктора Белого, сына большого нашего общего с мамой друга – Виктора Аркадьевича Белого, о котором я еще обязательно напишу.

Отец прислал Сереже приглашение (к себе в Англию), и Сережа в брежневские времена не побоялся по дороге заехать в Германию, в антропософский центр, и, если я не ошибаюсь, уже тогда сделал там блестящий доклад на блестящем немецком языке, чем сразу же заслужил уважение немецких коллег. Он, однако, не остался ни у отца, ни в Германии, а вернулся в Москву и продолжал с полным фанатизмом отдавать всего себя антропософии. Не думаю, что так уж важны дальнейшие детали, но через несколько лет он уехал в Германию, потом в Швейцарию, и теперь уже автор толстых томов, посвященных антропософии. Сережа – удивительный пример преданности своему призванию. Ничто не могло его остановить на этом пути. Так я незаметно перескочила от дедов к внукам.

Вернусь снова к дедам – такая уж это семья. Невозможно оставить без внимания практически никого. После смерти обожаемой жены – Марии Ивановны Коровиной – Леонид Евгеньевич женился на Вере Николаевне Марковой.

Основной чертой внешности Веры Николаевны Марковой была некая неоспоримая значительность, монументальность. Очень крупная, полная, круглолицая, с большими холодными умными водянистыми голубыми глазами, зачесанными назад рыжеватыми, собранными в пучок жидкими волосами, всегда любившая изысканные одежды, о коих, впрочем, нисколько не заботилась, и на любом бархатном платье через очень короткое время в изобилии появлялись огромные пятна, приводившие в отчаяние Сонечку, преданно заботившуюся о ней и ее туалетах.

Вера Николаевна Маркова известна как блестящая, уникальная переводчица с японского и английского языков.

Но, боюсь, мало кто знает ее как по-настоящему большую поэтессу. Конечно же, сторонившаяся наших советских издателей, она жила в своем мире и не допускала никакого вмешательства в своё творчество. Ясно, что если бы она позволила себе хоть один раз «выскринуть» со своими стихами, последовали бы немедленные репрессивные меры (ну, например, перестали бы печатать ее достойные оригиналов (если не превосходящие) кружевные и вместе с тем литые переводы с японского), но она это прекрасно понимала, писала стихи и сшивала их в тетрадки.

Помню тот торжественный день, когда меня удостоили величайшим доверием, и Вера Николаевна сама читала мне свои стихи, а потом дала несколько тетрадок и домой. Стихи произвели на меня огромное впечатление. Помню, мне показалось, что они чуть ли не на уровне Ахматовой.

С Ахматовой ее роднила и царственность поведения, абсолютное сознание своей избранности, отнюдь не исключавшее известной скромности, и какое-то на редкость органичное высокомерное «незамечание» бандитов всех уровней власти. Вместе с тем меня немало удивляла ее полнейшая осведомленность и глубокий интерес ко всей политической жизни страны. Она регулярно слушала «Голос Америки», детально знала обо всем происходящем, и ее оценки всегда были отмечены свежим подходом и безошибочным проникновением в суть. Уже в послеперестроечные времена «Новый мир» опубликовал несколько раз подборки ее стихов, но эти публикации совпали с такой мощной волной хлынувшей со всех сторон света прекрасной русской литературы, что я даже не уверена в том, что читатель уразумел, что это стихи женщины, всю жизнь прожившей в России и писавшей свои в хорошем смысле «вневременные» стихи не в чужом далеке, а на Третьей Миусской.

Вот и в дневниках Чуковского я встретила упоминание о Вере Марковой как о замечательной переводчице с японского языка, но не как о поэтессе, чего Чуковский, может быть, и не знал. Надеюсь и уверена, что русский читатель еще откроет ее стихи как свое культурное достояние. Она дожила до глубокой старости. В марте 1995 года, будучи в Москве, я узнала, что она только что скончалась. Смеем сказать, что она прожила прекрасную, счастливую, долгую жизнь, окруженная вниманием, любовью и глубоким уважительным восхищением Леонида Евгеньевича, а после его смерти Сонечки и ее детей. Хочется мне сказать, что в семье ее звали «Добрушка».

Сколько же замечательных людей жили в квартире С. Е. Фейнберга, обставленной старинной мебелью, где царят рояль, полотна Леонида Евгеньевича, столь же далекие от реалий советского быта, сколь и стихи Веры Николаевны, и книги, ноты, книги и ноты. Не могу не заметить одной довольно смешной и милой, как мне кажется, детали. Богом в семье был Самуил Евгеньевич. Он считался самым талантливым, и его сочинения ценились чрезвычайно высоко. Вопрос о его сравнении с Прокофьевым, за сына которого вышла замуж Сонечка, даже не вставал, настолько всем было очевидно превосходство творчества Самуила Евгеньевича, виднейшего профессора Московской консерватории по классу фортепиано и выдающегося пианиста.

Со слов его учеников, теперь уже профессоров Московской консерватории, я знаю, что Самуил Евгеньевич был замечательным педагогом, тончайшим музыкантом, с яркой индивидуальностью, прививавшим своим ученикам и ремесло, и преклонение перед искусством музыки, и поднимавшим их на самые необозримые высоты секретов исполнительского мастерства. Но я ведь пишу только о своих личных впечатлениях.

Как-то мама купила пластинки, на которых были записи Фейнберга. Он играл Баха. У меня уже было какое-то сложившееся представление о том, как принято играть Баха, и когда я услышала шопенообразное звукоизвлечение и явственно доносившееся увлеченное сопение и подпевание Фейнберга, помню, я немало удивилась. И что же? По прошествии стольких лет я не могу забыть этого исполнения, этого особенного звукоизвлечения и той

свободы интерпретации, которую может себе позволить только глубочайшая убежденность в единственной своей правоте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.